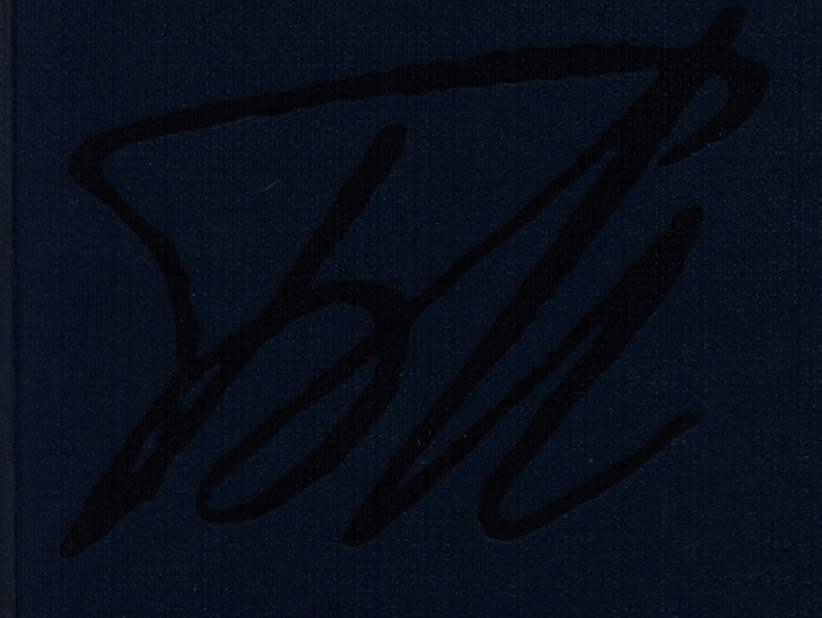
Борис Пастернак

Стихотворения
и поэмы



Б Пастернак

Борис Пастернак

Стихотворения и поэмы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1988

84Р7
П 19

Состав и предисловие
Л. Быкова
Комментарии
Е. В. Пастернак
Е. Б. Пастернака
Составление иллюстраций,
макет и оформление
А. Рюмина

П $\frac{4702010200-094}{М158(03)-88}$ 47-88
ISBN 5—7529—0048—4

Б. Пастернак


Ю.А.
1921.

За обрывками рѣдкаго сада,
За рѣшоткой глухого жилья
Раскатившейся эспланадой
Передъ небомъ — пустая земля

Прибываютъ нѣмыя широты,
Убылъ по міру пущенный гулъ.
Какъ отсроченный день эшафота
Горизонтъ въ глубину отшагнулъ

Дѣти дня, мои сносятъ не привыкли
Этотъ, запада гибнущій фрокъ
Мы, надолго отлившіе въ тигель
Обиходный и легкій востокъ.

Но что скажешь ты, вдохъ по насущной
На зачатый тобою прогонъ,
Когда ширью грудного чилишка
Нагнетаешь, плыветъ небосклонъ,

Когда, вѣрующаго походкой,
Что скиталася степью воды,
Никуда, по снѣгамъ околотка
Не ведутъ разсыпные слѣды.

Жизнь

Ты оправлена въ славу, осыпана хвоей
Закапана воскомъ и шаркомъ
Паркетовъ и фребликъ, тупою звукомъ
Отъ запаха краски подарковъ

Со днемъ переплетовъ подъ лампой о крысахъ
Орѣхахъ, балахъ, холмагахъ
Не высохся спиртъ колеровъ и не высохъ
Туманъ клеевой на бумагахъ

И Фаустовъ кафтанъ и атласной
Шелковъ Маргариты на лифа корсажа
Что влаги младенческихъ глазъ Бинтана
Пахучая сказкой олифа.

20/

Я вижу на поле у избушки
[illegible] катает [illegible] свинка

Шевелятся шевелит губы
И ~~от утра на шелке торги~~
Замирали кони от полоски
И на ~~утренние~~ шелке торги
От ~~зари как от~~ ранней ~~полосы~~
~~Как от~~ радужки [illegible] с [illegible]
Пу~~[illegible]~~ острые [illegible]
К~~[illegible]~~ Пронести их и [illegible] следки
пронести, пам —





Любимая, безотлагатель-
но, не дав руке с пути
рассеяться, ответь, что
свет с его Подателем о
ходе твоего процесса. И
если это только мыслимо
повторить заново, а нель-
зя, — воспользуйся при
этом высланным курье-
ром умоисступленья.
Дождь, верно, первым
выбежит из лесу и возгла-
сит, где топь, где тонко.
Другой ему вдогонку
вызвался, и это —
бор его диктовку. Наверно
бурю безрассудств его
сдадут деревья в руки
из рук, — моя ж рука

давно отсутствует: что
нет — жалоб картинных
призрак. «Я не бывал
на тех урочищах, она
и ведет себя как пра-
зд и знатоки. Сло-
жась горожанин, тот
дом по своей уровне
марит.

Весна 1921.

34

Пахота

Неузнаваем мир вечерний.
За край небес, куда ни глянь,
Как клетки шашечницы, пашни
Ушли, перемахнув за грань.

Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровнены горы
Или равнину подмели.

И в тот же миг, единым духом
Деревья по краям борозд
Покрылись почками и пухом
И вытянулись во весь рост.

И ни соринки ниоткуда.
И в мире красок лучших нет
Чем зелень цвета изумруда
И светлосерой пашни цвет.

Теперь руками человека
Вся эта ширь и глубина
Дождям и солнцу под опеку
До новой жатвы отдана.

Таков всегда пустой и чистый
Осенний лед
Я [illegible] [illegible] касаясь
[illegible], [illegible]
~~[illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible]~~
Его [illegible] [illegible]
[illegible] во [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
Во [illegible] не могу
~~[illegible] и [illegible]~~ [illegible]
Молча [illegible]

Лес [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
И не [illegible] [illegible]
Его [illegible]
С ~~деревьев~~ [illegible] [illegible] [illegible]
И капали [illegible]
[illegible] верст [illegible] на [illegible]
[illegible] болот

Начало
С деревьев [illegible] [illegible]
И [illegible]
[illegible]

И дух [illegible]
[illegible] верст [illegible] [illegible] [illegible] на [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] и [illegible]
Порожняком

ДОМ УЧЕНЫХ

(Ул. Кропоткина. 16)

МОСКОВСКАЯ ГОСУДА

ВЫС

ПО

БО

ПАСТЕ

С Т

„ВТОРОГО

„ЗЕМНОГО

и книг „ПОВЕРХ

„СЕСТРА-М

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ШЕКСПИР

Начало в 8

Билеты продаются в кассе Концертного зала Дома Ученых (Ул. Кропоткина
кассе (Петровка, 5) с 9 часов 30 минут утра до 5 часов 30 минут веч

Д87481 Тираж 100 Заказ 2246

ТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮНЯ 1946 г.

УПИТ

ЭТ

ПОВТОРЕНИЕ

РИС

ЕРНАК

Х И

ЖДЕНИЯ"

РОСТОРА"

АРЬЕРОВ"

ОЯ ЖИЗНЬ"

Р ВЕРЛЕНА и др.

сов вечера

ежедневно с 12 часов дня до 8 часов вечера, в Центральной Театральной
в районных кассах ЦТК и в концертных кассах в вестибюлях метро.



Таланта вольное упорство

В детстве он связывал свое будущее с музыкой.

Близкий ему литератор запомнил дружескую встречу в начале 20-х годов, когда поэт сел за рояль и сыграл одну из сочиненных в отрочестве композиций, встав со словами:

— Что, если мои литературные затеи — ерунда, а это — настоящее!

В девятнадцать лет он, предъявляя к себе максималистские требования, из-за отсутствия абсолютного слуха прервал фортепианные занятия, хотя перед этим удостоился похвалы самого Скрябина. Музыка, быть может, и впрямь недосчиталась перспективной композиторской индивидуальности, и все же неоспоримо, что собственным даром Борис Пастернак распорядился с наибольшей — для всех и, следовательно, себя — выгодой.

Его ранние стихотворные наброски, где строчки стихов могли перейти в строчки нот, остались в студенческих тетрадях. В 1913 году Пастернак заканчивает учебу на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета. К этим дням относятся и его первые поэтические публикации. Позже, переиздавая свои ранние опыты, автор объединит некоторые из них в разделе «Начальная пора», указывая тем не только на дебютный характер этих стихов, но и на схваченное ими «зоревое» время самой жизни с его сумятицей, непредсказуемостью, безотчетностью.

В этом разделе, принципиально избегающем деклараций, все же встретится ключевая для молодого поэта формула:

И чем случайней — тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Такая установка выглядит рискованной, ибо ее легко принять за оправдание своеволия автора, тем более что ошеломляющую логику его расточительно-щедрой и нервной образности осваиваешь не без усилия. Но Пастернак отстаивал совсем другое — право поэта на «раскованный голос» (и предполагал даже назвать так вторую свою книгу, которая вышла в 1917 году под названием «Поверх барьеров»).

Вот хрестоматийное уже начало:

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот...

Пальцы пианиста, мелькая над клавиатурой, и впрямь напоминают жестикуляцию человека, дающего птицам зерно. Многие стихотворцы приберегли бы столь эффектную в своей неожиданности метафору для ударного финала — Пастернак же ею начинает, предлагая далее такую цепную реакцию уподоблений, что для ее комментирования не хватит и целой статьи. При этом строки об импровизации сами выглядят импровизацией: кажется, будто автор и создавал их по наитию, не задумываясь о том, как отнесется к этой стихии ассоциаций читатель.

В 1922 году вышла и сразу стала событием в литературе книга «Сестра моя — жизнь», которую, по признанию самого поэта, он писал как бы поверх своих ранних стихов. Книга — о любви. О чувстве, наделяющем человека радостью сознания, что он единокровен миру.

Здесь нет пересказа еще одной сердечной драмы, здесь «не сцены» — «разряды»: стенографируя изменчивую жизнь человеческого духа, стихи выхватывают ее кульминации, и пьянящее счастьем ощущение, что все бытие — твое, переполняет строчки.

Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Мир чуден, когда любишь. Самого слова «любовь», пожалуй, и не заметишь на страницах книги, но вся она насыщена живыми подробностями именно этого чувства. Позволяя разделить свой душевный подъем и читателю, поэт рассчитывает на нашу восприимчивость: «Ты к чуду чуткость приготовь...»

Чувство в этих стихах действительно воплощается, то есть предстает во плоти. Губкой вбирающее «сырую прелесть мира», пастернаковское слово «мгновенной меткостью» роднит начала, что прежде считались полярными,— реалистическое и романтическое, зрелищное и музыкальное, обиходное и возвышенное. Городские пейзажи оборачиваются тут портретами души, а сам человек подставляет «грудь под поцелуи, как под рукомойник», признается любимой, что она, «как с полки, жизнь мою достала и пыль обдула». И вовлекаемые в стихи «прозы пристальной крупицы» выглядят — вот он, артистизм художника! — более поэтичными, нежели традиционные и потому обесценившиеся лирические атрибуты.

Поэзия Пастернака этой поры, где впечатлительность помножена на воображение, избыточна в том смысле, что

выстраивает модель мира из быта. Бытовое здесь выступает синонимом бытийного, вечное открывается в вещном, абстрактности конкретизируются, становясь осязаемо-доступными. Потом, в поздние годы, поэт напишет о летчике, что «смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот». Но так мог сказать о себе уже и герой «Сестры моей — жизни».

Творя «праздник существования», поэт заражает своей страстностью. Его волнение пронизывает строки, не боящиеся словарных и синтаксических непривычностей, переносов ударений, ритмических сбивов. Стихия удивленности и восторга, владеющая пастернаковской лирикой этих лет, апеллирует ко всей человечьей натуре, ко всем нашим чувствам и надеется на отклик не только сознания, но и подкорки: «О, все тогда — в кольце поэмы...»

Жизневосприятие Пастернака сколь патетично, столь свежо и непосредственно. Будто все сущее не просто впервые увидено, но и поименовано только сейчас. Эта особенность его таланта побудит Анну Ахматову сказать о поэте: «Он наделен каким-то вечным детством». Тем, кто усмотрел бы здесь намек на инфантильность, можно возразить, сославшись на боготворимого Пастернаком Рильке: да, это детство, но оно «старше вас». Ощущая себя сыном многовековой культуры, поэт сохранил первобытный, или, как говорят философы, пралогичный, взгляд на реальность, свойственный далеким нашим предкам, которые все причинно-следственные связи в мире выводили из сопричастности явлений во времени и пространстве. Убежденность, что «все живое связано волной кругового, вихревого сходства», и обусловила «мощную силу сцепления», явленную пастернаковской метафористикой.

Но просится вопрос: какое отношение имела эта, пусть и несомненно оригинальная, поэзия к потрясавшим тогда Россию катаклизмам? И разве в той же «Сестре...» не признался автор в собственном общественном безразличии, когда простодушно обмолвился:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Сию строфу и впрямь не раз предъявляли поэту как улику. При этом не замечали, в запале вырывая четверостишие из контекста, авторскую самоиронию, тем более явную, что цитированные строчки следовали за догадкой: «мир давно не тот». И виртуозное стихотворение («Про эти стихи») — как раз о переменах в жизни, пусть кем-то не сразу воспринятых, но для всех неизбежных.

А можно ли упустить из виду, что указание на сроки создания «Сестры...» — «Лето 1917 года» — вынесено в подзаголовок книги? Ведь тем самым время это («Былые годы за пояс один такой заткнет») возведено в ранг ее героя.

Дни сердечного гипноза совпали с днями коренного общественного обновления. И в силу этой случайной и вместе с тем необратимой обусловленности интимное и социальное образовали на страницах книги неожиданно глубокую и точную рифму. Почти не имеющая отсылок к очевидным для истории «материальным» приметам тех бурных месяцев, книга о всепоглощающем чувстве получилась и книгой о духовной атмосфере времени, которое сам поэт назовет утром революции.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.

В одном из писем, отправленных вскоре после выхода «Сестры моей — жизни», ее автор обращался к одному из сверстников: «...вот эти: семнадцатый, восемнадцатый и так далее, разве были бы они вообще чем-нибудь стоящим на земле, а тем паче годами великой революции, если бы не были эти годы моим или Вашим тридцатым или чьим-нибудь сороковым, пятидесятым».

К характеристике и оценке сущего поэт шел от человека. И прежде всего от самого себя. Подобный критерий в эпоху грандиозных социальных сдвигов мог показаться несвоевременно-мелким, а то и эгоцентричным, но если игнорируется «быль отдельного лица», то расшатываются самые основы гуманизма. Ибо время дано человеку, а не человек отдан времени. Для художника же постоянный загляд в собственное «я» вообще естествен как способ «познания всякой жизни на свете». Потому-то Пастернак и советовал товарищу по литературе «забирать глубже в себя»: «И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать».

Во второй половине 20-х он работает над несколькими поэмами и романом в стихах. Полагая, что «эпос внушен временем», поэт не изменяет лирике, но изменяет ее. Перемены связаны с открытым обращением к социальной проблематике.

Пастернак не был, что называется, общественным человеком (так Н. Асеев характеризовал Маяковского) и, если не считать нескольких стихотворений периода Великой Отечественной войны, чурался в творчестве злободневного. Яснее большинства современников он понимал, что не единой социальностью живы люди. Но если до Октября поэт вообще разводил лирику и историю как два противоположных


зимою. Кремлевская
iver. Le quai de la

полюса действительности, то теперь зазор между ними резко сокращается и по стихам становится заметно, как «век поэта льнет к поэту», а тот в свою очередь настойчив в стремлении осмыслить свою историческую уместность.

Его не занимало ни восхваление революции, ни ее оправдание — он воспринял ее как данность, как явление природного и творческого порядка. Более того, с прозорливостью, едва ли ожидаемой от человека его воспитания и наклонностей, Пастернак сразу увидел, что как бы ни относиться к Октябрьским событиям, они бесповоротно определят будущее страны (и, добавит поэт впоследствии, всего мира). Но художник, чьи создания решительно оспорили саму необходимость союза «и» в привычных языку парах «человек и природа», «искусство и действительность», не мог не почувствовать, вписывая биографию своего поколения в большую историю, конфликтной напряженности, связанной с этой буковкой в словосочетании «интеллигенция и революция».

Полагавший себя «в родстве со всем, что есть», поэт болезненно ощущал «тень чужеродья», отброшенную на его судьбу пореволюционными буднями. И драматизм этого чувства, с годами то слабевший, то усиливавшийся, был предопределен не литературными или житейскими частностями.

Почти одногодок Пастернака Осип Мандельштам назвал людей их склада и возраста потерпевшими кораблекрушение выходцами девятнадцатого века, волею судеб заброшенными на новый исторический материк. А в пастернаковской поэме «Лейтенант Шмидт» главный ее герой, по духовным устремлениям очень близкий автору, заметит:

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш при́говор
Без гнева и упрека.

Возвращаясь своими поэмами к предшествовавшим Октябрю десятилетиям, Пастернак лишний раз убедится, что демократически настроенная русская интеллигенция, издавна терзавшаяся комплексом вины перед народом, «в жажде настоящего» готовила себя к самопожертвованию. Этический пример народовольцев и П. Шмидта склонит поэта, как и многих людей его поколения, «ради действительности, которая того хочет и которую как-то можно подправить и облагородить такой уступкой», внять императивам, диктуемым новой эпохой. Убежденный, что «общий тон выраженья вытекает теперь не из восприимчивости лирика ...а решается им самим почти как нравственный вопрос», Пастернак решительно переписывает для новых изданий страницы своих первых книг и приучает к большей кон-



тактности с читателями строки новых стихов и поэм. Словарь его обретает большую однородность, ритмика становится строже, образность — прозрачнее.

Готовый к «восстанию на самого себя», поэт не постесняется и предельно резких самооговоров («Я, былого подонок...»), более того, провозгласит свое «Второе рождение» (так называется его книга начала 30-х годов). Он жаждет «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» и все же сознает, что и у самых взаиможелаемых компромиссов есть свои пределы.

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Вот коллизия, эхо которой откликнется в «гамлетовских» его строчках о художнике:

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Нет, не революция тревожила Пастернака, а ее — и, стало быть, и его — будущее. С какой увлеченностью набрасывал он ленинский портрет (без финала «Высокой болезни» поэтическую Лениниану теперь не представить). Какие стихотворные реквиемы посвятил сгоревшим «в живом огне» истории Ларисе Рейснер и Вячеславу Полонскому. Как мужественно — если заглянуть дальше — будет звучать в годину войны с фашизмом его голос во славу «великой правоты» народа, противостоящего «коричневым рубахам». С неизменной искренностью восторгался он «вкусом больших начал», обещавших одоление нужды и «холопства». Но поэт оставался верен отечественной литературной традиции «глядеть на вещи без боязни», и ему горько было замечать, «как восстает время на человека и обгоняет его», превращая из цели и смысла истории в средство, больно было видеть, «что прошлое смеется и грустит, а злоба дня размахивает палкой».

Было бы несправедливо сводить характеристику того исторического периода к подобным констатациям, но и без них — что отчетливо видно с высот нынешнего дня — она тоже стала бы неполной и неточной. Предъявляя личный счет литературе, а через нее и времени, Пастернак если и сгущал краски и чувства, то не более, чем это свойственно настоящему художнику, по самой своей природе пристрастному к эпохе, в которой ему выпало жить.

«Культурной революции мы не переживаем... Философия тиража сотрудничает с философией допустимости...», «Не жертвуйте лицом ради положения... Слишком велика опасность стать литературным сановником...», «Все трескуче-



приподнятое и риторичное кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и морально подозрительным...», «Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные путы, никому не нужные, никем не затребованные. От нас хотят дела, а мы все присягаем в верности...»

Это выдержки из пастернаковских статей и речей преимущественно второй половины 20-х — первой половины 30-х годов, когда все чаще стало обнаруживаться недоверие к потомственной интеллигенции и все реже вспоминались отстаиваемые ею представления о нравственности и культуре. Газеты той поры твердили, что новый мир по Льву Толстому или Чехову не построишь. Но ведь и без жизненных начал, которые поддерживало и укрепляло их искусство, перспективы исторического созидания неизбежно затуманиваются. Нельзя, чтоб идеалы чести, правды, гармонии «ушли за волнолом» и оставались невостребованными. И, зная, что «кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают», Пастернак своими стихами, прозой, письмами, а со второй половины 30-х все чаще и переводами из мировой классики ревностно оберегал позиции добра — «вседневное наше бессмертье».

Поэт — человек слова. Он возвращает словам изначальный смысл, наполняя их жизнью. Личным духовным опытом. И когда Пастернак утверждал, что книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести, у него было право на такое определение.

Весной 1946 года поэт начинает писать роман. Свой, как он верил, главный труд. Работа будет долгой, займет почти десятилетие, но прежде чем мы его прочтем, минет еще треть века.

«Доктор Живаго» написан о том же, о чем думал художник, когда вынашивал «Высокую болезнь», «Лейтенанта Шмидта» и «Спекторского». О русской интеллигенции и отечественной истории. О «значеньи двояком жизни, бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат».

Заключительной главой романа стало собрание стихов, отданных автором центральному персонажу. Их строки, высвечивая затененное катаклизмами и буднями эпохи биение человеческой совести, раскрывают цену и смысл духовного подвижничества. И если в прозаической части «Доктора Живого», как в предшествовавших ему созданиях 20-х — начала 30-х годов, эта тема вытекала из бурных событий нашего столетия, то в стихах романа мысль об искупительной силе страдающего добра обрела вечностные основания.

В поздней лирике поэта, утверждающей завидную высоту человеческого жребия, охотно оживают «новозаветные» мотивы Библии, этой, по формуле самого художника, записной тетради человечества. Годы сделали особенно

заметным, что свойственный пастернаковскому восприятию целостный охват сущего «сводит на нет» «дробность» не только пространства, но и времени. Потому в его стихах и нет теперь прошлого: то из «протекших дней», что однажды в душе отпечаталось, живет в ней как самое свежее впечатление. Стихи получаются не о былом и текущем — о всегдашнем. Даже если они о миге:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

От сущего к сущностному, от родовых эмоций к родовым убеждениям, от природной естественности в отношениях человека с «живой огромностью» мира к моральной природе самого человека — в этом направлении талант Пастернака вершил «полета вольное упорство».

Если в раннем творчестве поэт ценил недосказанное выше сказанного, то в послевоенную пору он все чаще выходит к лирике «прямого сердечного назначенья», которую — по аналогии с подобного рода музыкой — можно назвать программной. Во многих стихах из романа, и особенно последней, отдельно не издававшейся книги «Когда разгуляется», позиция автора заявлена с «еретической» для него откровенностью. Духовная энергия, что в юности разряжалась мгновенным метафоризмом, теперь фокусируется в выношенной ясности заветов и итогов. Эстетический аскетизм таких творений обусловлен этическим максимализмом творца, сполна изведавшего «безумья, боли, счастья, мук».

Существованья благодать
Меня волнует и печалит.

Весь ранний Пастернак — в первой строке.

С годами очарованность миром ничуть не ослабеет и потому осложнится и обогатится сознанием личной ответственности за достоинство жизни.

«Может статься,— писал он на склоне лет,— человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает...»

Но поэты на то и поэты, «чтоб тайная струя страданья согрела холод бытия». Стихами и судьбами они во все времена неустанно напоминают живущим о любви, долге, вечности и красоте. О том, что мы — люди.

Леонид Быков

Начальная пора
1912–1914



* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

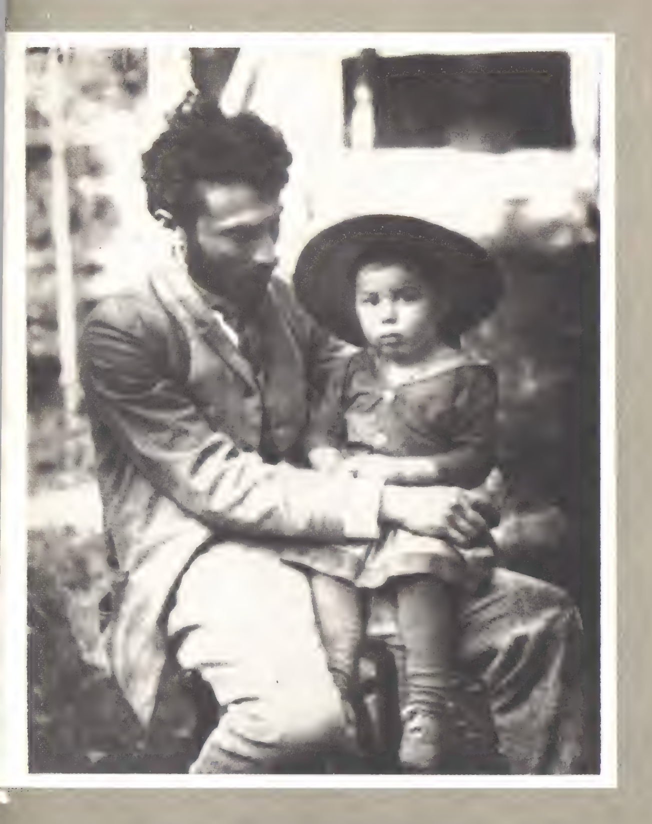
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

⟨1912⟩

* * *

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,



Л. О. Пастернак с сыном Борей.
Одесса, 1891

Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

⟨1912, 1928⟩

Сон

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по небу берез.

1913, 1928

* * *

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.



Р. И. Пастернак
с сыновьями Борей и Шурой.
Одесса, 1898

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

⟨1913, 1928⟩

* * *

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести,—
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток.
Пример преподан,— ваш черед.



Р. И. Пастернак
и А. О. Фрейденберг с детьми.
Одесса, 1898

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.

⟨1913, 1928⟩

Вокзал

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой.
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер,—
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

Венеция

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Всё было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косой ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И го́ндолы [1] рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

---

[1] В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение. *(Примеч. Б. Пастернака.)*

Зима

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет — к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913, 1928

Зимняя ночь

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один — я спать услал ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо заметено.
Память, не ершись! Срастись со мной!
Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928

Поверх барьеров
1914–1916

гоитъ у кормила
рывая бортомъ скор
вель въ тысячу силъ
батареями въ чу

ыхъ приходовъ и никог
шея передъ каѳедрой спр
въ разбивку
анный неправильный
охшей гаубице
ная голова

Двор

Мелко исписанный инеем двор!
Ты — точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валятся, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назади,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади.—
Двор! Этот ветер морозный — как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!



Дом Училища живописи, ваяния
и зодчества на Мясницкой,
где с 1901 по 1911 год
жили Пастернаки.

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие тьме полыханьем огней!
Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах — студеней моей,
Их откровений — темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на вощеных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба — свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».

⟨1916, 1928⟩

Петербург

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа,—
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пищалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

———

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буем, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть;
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

———

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника — ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены пó ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

———

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводненья не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

1915

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.

Как же хочешь ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал ты есть земную соль?

⟨1915⟩

Метель

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.



В столовой дома на Мясницкой.
Л. О. и Р. И. Пастернаки
с сыновьями Борей и Шурой.
1905

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За́ город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено валятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес! —
Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
Уюта! — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели — спола́горя.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

Урал впервые

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.

Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

⟨1916⟩

Весна

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеплен
Апрель. Возмужалостью тянет из парка.
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы —
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички —
Им, ветреницам, холодно

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж,—
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

⟨*1914*⟩

Счастье

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанью, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смытьи ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клёст
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.

1915

После дождя

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попранным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.



В Райках. Л. О. Пастернак
с сыновьями Борисом и Александром
и дочерьми Лидией и Жозефиной.
1907

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались,—
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц,— ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженый клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

Импровизация

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны.— И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлися птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

На пароходе

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синée оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

1916

Из поэмы

(Отрывок)

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,



Б. Пастернак с друзьями
и родителями в Райках.
1907

И гасли Стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статься. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибой прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье,—

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И всё это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз»,— твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег»,—
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкою на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.

Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1916, 1928

Сестра моя – жизнь
Лето 1917 года



Посвящается Лермонтову

Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal' ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge.

Nic. Lenau [1]

Про эти стихи

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,

---

[1] Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты. *Ленау (нем.)*.

Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.

* * *

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грóзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Плачущий сад

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете,—
Готовый навзрыд при случае,—
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

* * *

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,



Б. Пастернак
во Всеволодо-Вильве. 1916

Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Из суеверья

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев,
И — пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Не трогать

«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой — белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

Образец

О, бедный Homo sapiens [1],
Существованье — гнет.
Былые годы за́ пояс
Один такой заткнет.

---
[1] Человек разумный *(лат.)*. — Ред.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,



Во Всеволодо-Вильве на Урале.
Слева направо: Е. Лундберг,
Б. Збарский, Ф. Збарская,
Б. Пастернак. 1916

Плясали в кольцах, в конусах
    По насыпи, по рвам,

А уж гудели кобзами
    Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
    Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
    Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
    Тех розысков в груди.

Сложа весла

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

Весенний дождь

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.

Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубоки розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовою эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она льется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром,— прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Звезды летом

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

Уроки английского

Когда случилось петь Дездéмоне,—
А жить так мало оставалось,—
Не по любви, своей звезде, она —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездéмоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.



Б. Пастернак
во Всеволодо-Вильве
с семьей Б. Збарского. 1916

Когда случилось петь Офелии,—
А жить так мало оставалось,—
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии,—
А горечь слез осточертела,—
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

Определение поэзии

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и флейт — Фигаро́
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

Определение души

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком!
Сумасброд — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан — «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась — в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

Определение творчества

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена.
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь[1],
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

---

[1] Д о́ в е д ь — шашка, проведенная в край поля, в дамы. *(Примеч. Б. Пастернака.)*

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Наша гроза

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьеся сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли,— соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярийный
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовей?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?

О, верь игре моей и верь
Гремящей вслед тебе мигрени.
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

Заместительница

Я живу с твоей карточкой, с той,
что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла
и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И объявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез,— до слез!



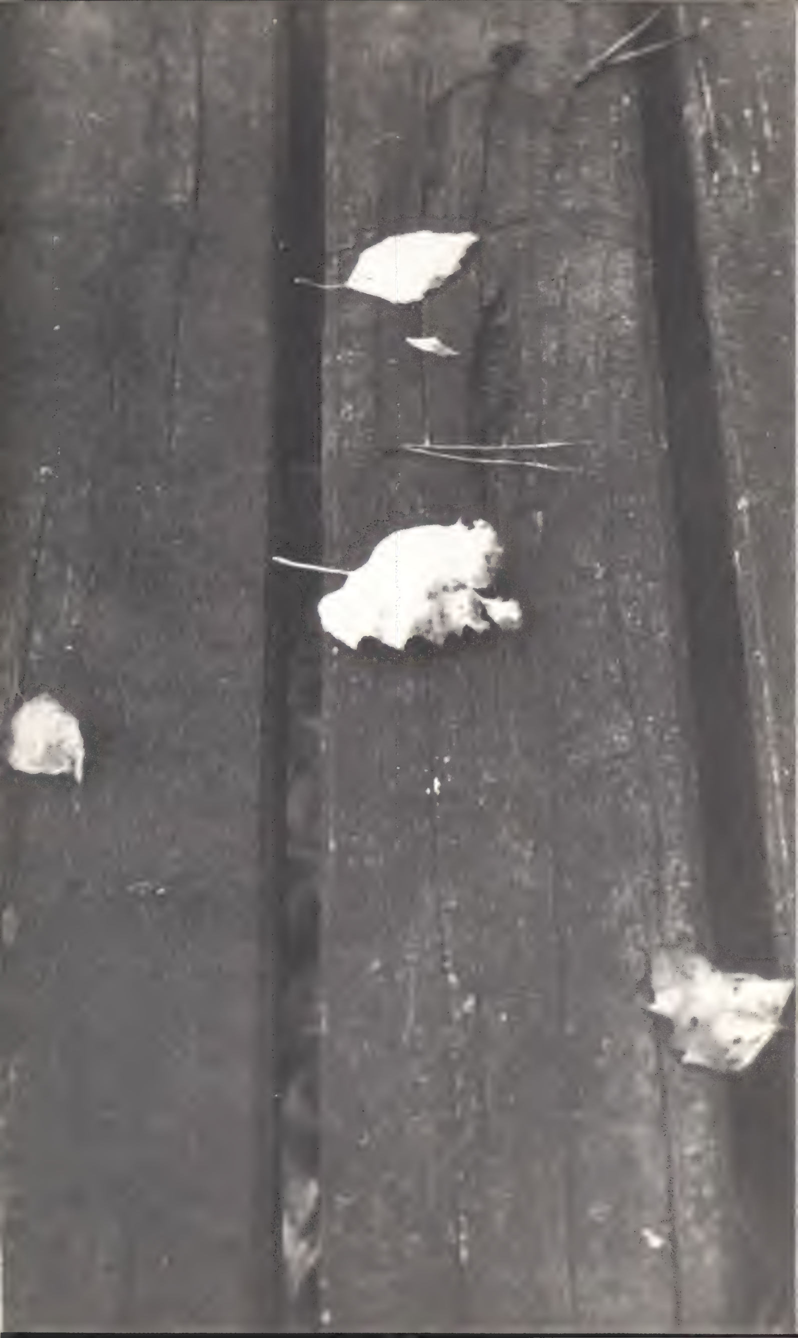

3

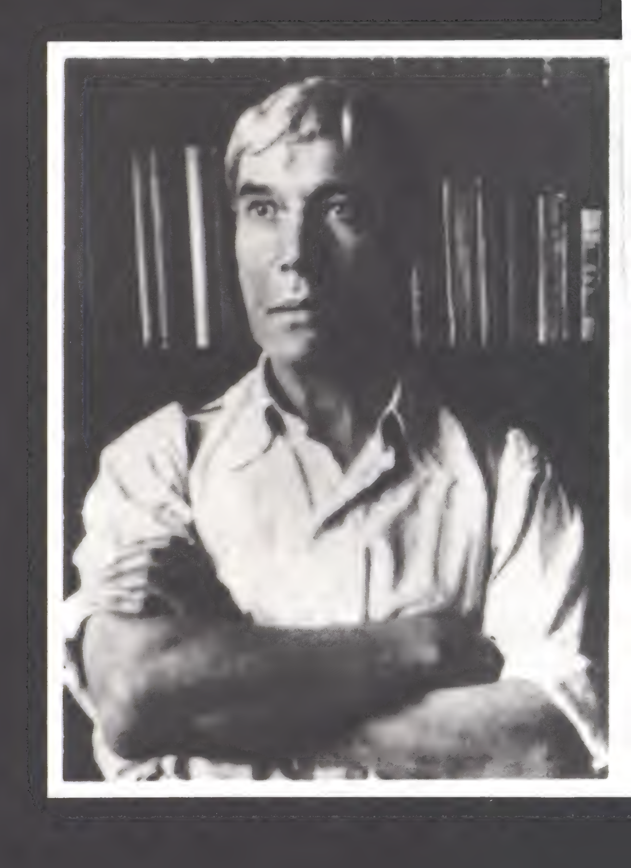












Воробьевы горы

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звезам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

Душная ночь

Накрапывало,— но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,

И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен;

Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,

Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушней капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

Лето

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало — нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

Гроза, моментальная навек

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем!

Дарственная надпись
Б. Пастернака М. Кузмину
с нотной фразой из IV баллады
Шопена на книге
«Сестра моя — жизнь».
Издательство З. И. Гржебина.
Москва, 1922

* * *

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный,
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее,— паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века́,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

* * *

> **Мой друг, ты спросишь, кто велит,**
> **Чтоб жглась юродивого речь?**

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За тёской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид

Слетал на сырость плит
Осенних госпита́лей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя,— подробна.

Послесловье

Нет, не я вам печаль причинил,
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет не я, это — вы, это ваша краса.

Темы и вариации
1916—1922

иначе

тихий час

черней иночеств

тихий. Будто

ночь отблеска.

снежней

Встреча

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где с предвкушеньем водостоков
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

1921

Маргарита

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

Шекспир

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег.
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях.— «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет

Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди,— короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы — в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу,—
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

1919

Тема

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах — соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся как о́б лед отблеск звезд?

Скала и шторм и — скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

Из «Вариаций»

Оригинальная

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям, и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но — тошно
И страшно, и — рвется фосфат.

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеваный бетель,
Песок осушает взасос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

Облако. Звезды. И сбоку —
Шлях и — Алеко.— Глубок
Месяц Земфирина ока: —
Жаркий бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень, как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун,— заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

1918



Семья Пастернаков. 1921

Разрыв

1

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся,— нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек,— я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слыхать? Какие сплетни в городе?

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая»,
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченье дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня,
как ртуть в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне,— о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И как лилий, атласных и властных бессильем
ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их,— ведь
в бешеной этой лапте —
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот
в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту
к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей
в ушах лошадей,

Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев,
копыт и когтей.
— О, на волю! На волю — как те!

6

Разочаровалась? Ты думала — в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными
В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
Раздумья, решила, что всё перепашет.
Что — время. Что самоубийство ей не для чего.
Что даже и это есть шаг черепаший.

7

Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью,
в перелете с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг.

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца,
В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутливым — спи,
утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись,
не плачь.

Когда совсем как север вне последних поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,

Полночным куполом полощущий глаза слепых
тюленей,
Я говорю — не три их, спи, забудь: всё вздор один.

8

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, за этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого прости.

(Сейчас там ночь.) За душный свой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — Милый! — Нет,— вскричу я,—
нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

1918

Я их мог позабыть

1. Клеветникам

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регéнт!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клевещет,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клевещет,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клевещет,
Манишек аромат,
Изящество дареной вещи,
Клевещет хиромант.

Ничтожность возрастов клевещет,
О юные,— а нас?
О левые,— а нас, левейших,—
Румянясь и юнясь?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырожденье,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

1917

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств — в западню?
С ураганом — к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам.— Рубцуй!
О, не вы, это я — пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

1917

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут,— а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

4

Нас мало. Нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.



Б. Пастернак с женой
Е. В. Пастернак и сыном Женей.
Фотография М. С. Наппельбаума.
Сентябрь 1924

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим

И — мимо! — Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы,— с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

1921

5

Косых картин, летящих ливмя
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.

1922

Нескучный

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Он тоже — сад. В нем тоже — скучен
Набор уставших цвесть пород.
Он тоже, как и сад,— Нескучен
От набережной до ворот.

И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

1917

В лесу

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой,— не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палят ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

1917

Да будет

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи — ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел — вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка — пока ты госпожа,
Пока — покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

1919

Весна

* * *

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

1918

* * *

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и — жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?
Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? — Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

1919

* * *

Закрой глаза. В наиглушайшем о́ргане
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, — не привык.
Сейчас по чащам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капи́тулов,
Служивших в полном облаченьи хвой,
Мирянин-март украдкою пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.

1921



Слева направо
сидят: Б. Пастернак, В. Шкловский,
Л. Гринкруг, В. Маяковский;
стоят: С. Третьяков,
О. Брик. 1925

Поэзия

Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Ты — душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И, в рельсовом витье двоясь,—
Предместье, а не перепев —
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена,— струись!

1922

Осень

(Пять стихотворений)

С тех дней стал над недрами парка
сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт — и дворы озирал.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и — казалось, с последних погод
Не движутся дни, и, казалося — вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспамятно звонкий покой!

1916

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навыказ,—

Смеркалась даль,— спокойная на вид,—
И дуло в щели,— праведница ликом,—
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916

Но и им суждено было выцвесть,
И на лете — налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого,—
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,

Которые нынче на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки — козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918

Стихи разных лет
1916—1931

-ратием,
нашею 10.V.29
-страции до-
как не
у нас.

Борису Пильняку

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

<1931>

Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь — мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

<1929>

Марине Цветаевой

Ты вправе, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется, подобно дыму,
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

<1929>

Мейерхольдам

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Несравненному поэту
Марине Цветаевой,
«донецкой, горючей и
адской» (стр. 76)
от поклонника
ее дара, отважившегося
издать эти высевки
и опилки, и теперь
кающегося.
Б. Пастернак.

29/I 23
Берлин.

Дарственная надпись
Б. Пастернака М. Цветаевой
на книге «Темы и вариации».
Издательство «Геликон».
Москва — Берлин. 1923

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928

Ландыши

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

1927

Брюсову

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы: жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут.
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снесть
Пережитого слышащихся жалоб.

1923

Памяти Рейснер

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе все упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

1926

Уральские стихи

1. Станция

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.

В час его прохода столь
На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,
Как на блеск глазури блюдной.

Ад кромешный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темячек в дыму
Кружев, гребней и булавок.

Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача,
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.

А меж тем, наперекор
Черным каплям пота в скопе,

Этой станции средь гор
Не к лицу названье «Копи».

Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Инородцы),
Но и в жар она — свежа,
Будто только от колодца.

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек? —
Мысль, что кажутся Хребту
Горкой крашеных яичек.

Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то.

Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?

Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам,
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.

Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурею лица,
Клиньями столетних елей.

1919



Открытка из Уфы с уральским пейзажем. 1916 г.
Архив Б. Пастернака

2. Рудник

Косую тень зари роднит
С косою тенью спин Продольный
Великокняжеский Рудник
И лес теней у входа в штольню.

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,
Он обдает тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, снуя,
Как знаки заклинанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяет шаг
От царства угля — царства трупа.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
Пахнет руда, дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неописуем!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.

Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.



Открытка с видом Таганая. 1917.
Архив Б. Пастернака

Огарки — а светлей костров.
Вблизи — а чудится, верст за пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.

Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышит ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.

Ведь так легко пропасть, застряв,
Когда, лизнув пистон патрона,
Прольется, грянувши, затрав
По недрам гулко, похоронно.

А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый,— слова нет,—
Расплавленные капли, хлопья.

В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль!— Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

Как будто ты воскрес, как те —
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.

1918

К Октябрьской годовщине

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черед.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.

Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.

Бессрочно и тысячеверстно
Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.
Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
Обширней еще, чем допрежь.

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв новобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могли ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2

Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня —
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов.
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии,— плеск

Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит
Во все запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целеют под кипой
Событий и прахом попыток
Уйти из киргизской степи.

Но, тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи,—
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем самуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень, как шерсть,—
На лестницах министерств.
Одинокий как перст,—
Таков Петроград,
Еще с Государственной думы
Ночами и днями кочующий в чумах
И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.

Он все еще не искупил
Провинностей скипетра и ошибок
Противного стереотипа
И сослан на взморье, топить, как Сизиф
Утопии по затонам
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.

И осень подходит с обычной рутиной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настилает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Натравливает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протащив по всей квартире,
Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев —
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег, и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду — жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовета,
Вперенных в небывалый строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках — метеорит.

И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли.

1927

Высокая болезнь

Мелькает движ
Идет осада, иду
Проходят меся
В один прекрас
Сбиваясь с ног
Приносят весть
Не верят, верят
Взрывают свод
Выходят, входя
Проходят меся
Проходят годы,
Рождается тро
Не верят, верят
Нетерпеливо жд
Слабеют, слепн
И в крепости к

щийся ребус,
т дни,
ы и лета.
ый день пикеты,



нский эпос.
жгут огни,
ут развода,
т,— йдут дни,
ощатся своды.

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, и́дут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят,— и́дут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы,— все — в тени.
Рождается троянский эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут,— и́дут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,—
Простятся все грехи.
Всё это режет слух тишины.
Вернувшейся с войны,

А как натянут этот слух,—
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками метались мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы.
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
Уж ты и спишь, и смерти ждешь.
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь
Глотает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынесть вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат,

Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что бишь
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клети,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что всё по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети

Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клекот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»
. . . .

И полз голодною глистой
С второго этажа на третий,
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за́ лес,



Слева направо: В. Маяковский,
Б. Пастернак, Л. Брик,
С. Эйзенштейн. 1924

Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши

Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово враг.
Гощу.— Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Мы были музыкою чашек
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки,— и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.
Но я видал девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И, помню, в самый день торжеств,
Пошел, взволнованный донельзя,
К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался по обыкновенью
Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цемента крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнущих глазах творца
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.
Уже мне не прописан фарс
В лекарства ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.

Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось,— вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кощунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псари.
Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле

Часами во́ поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за́ сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд

Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Чтó в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот,
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923, 1928

Девятьсот пятый год

Небеса опускаю
Точно занавеса

Еще спутан и с
Еще чуток и жу
В неземной нов
Революция, вся

Жанна д'Арк из
Каторжанка в в
Что бросались в
Не успев соразм

Ты из сумерек,
Секла свет, как
Ты рыдала, лиц

ся наземь,
бахрома.

еж первопуток,



ерить разбег.

оциалистка,
из груды огнив.
ьм василиска

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груды огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденьи колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе.

Отцы

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И, однако,
За быстрою сменою лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.

Еще ночь под ружьем
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.

Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,

Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунки.
Гром позорных телег —
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россиею после реформ.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза

Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.

Это было вчера,
И родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

———

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.

Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.
Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожаки эшафот.
Шепот жертв и депеш,
Участясь,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда всё оживет.

Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользающий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

Детство

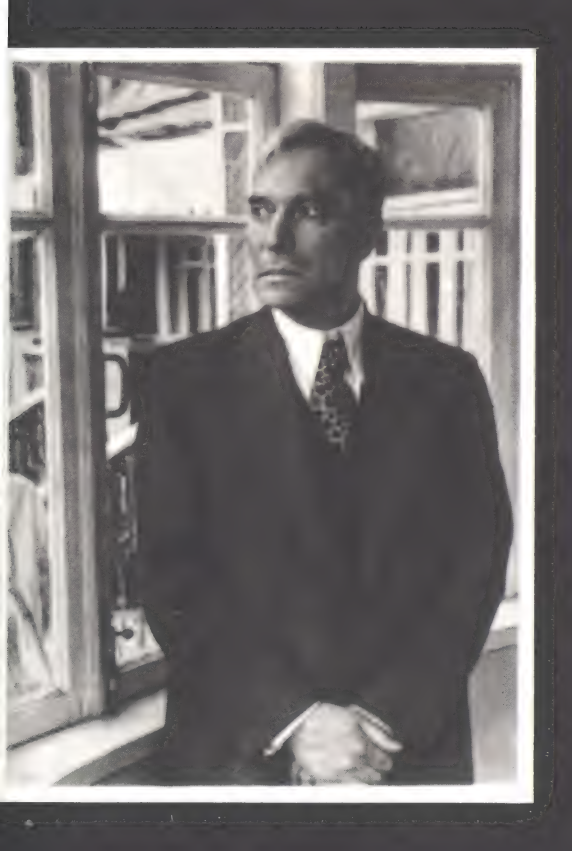
Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстояньи версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит
И на плитах грязца.

Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть
И жара как в теплице,
Звон у Флора и Лавра
Сливается
С шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижен
И улица газом жива,—
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней,
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,





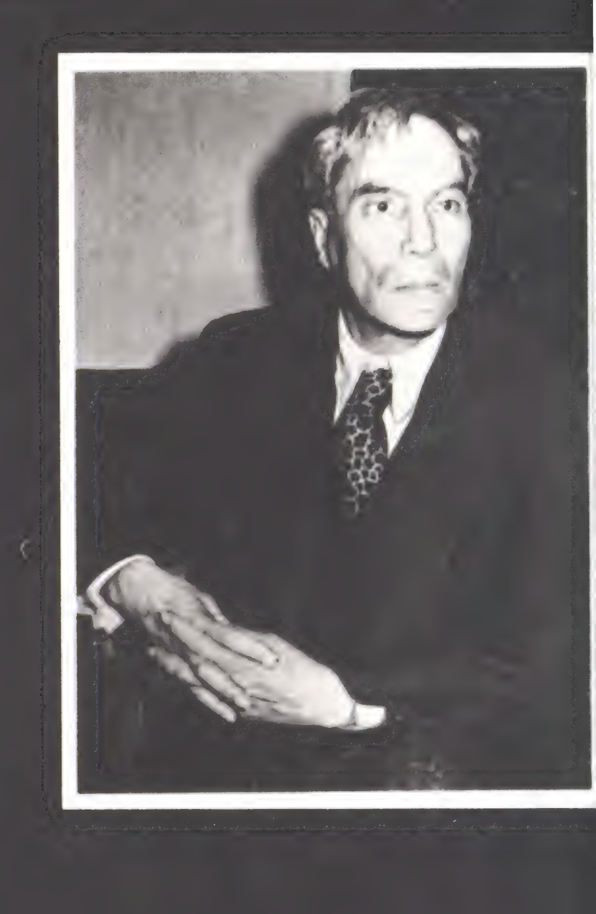












Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

———

Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.

В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют.
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется о́б стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,

На простор,
Подожженный зимой.

Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя.
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,
Впереди —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Панели стоят на ходулях.
Смотрят с тумб и киосков.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый.
Усталый, как слава.
Это —
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это —
(Дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни как дневник:
В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валящихся с неба
Единиц,
И снежинок,
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега —
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.

Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.

Утром —
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища...
Насмерть...
Сергей Александрыч...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

Мужики и фабричные

Еще в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Но не радует даль.
Как раздолье собой ни любуйся —
Верст на тысячу вширь
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства.
Ошибает
На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,

И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части,
И бушует:
Вставай,
Подымайся,
Рабочий народ.

И бегут, и бегу́т,
На санях,
Через глушь перелесиц,
В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Еще есть поезда.
Еще толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

———

Лето.
Май иль июнь.
Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.

Отеки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:
Это сыплются стекла
И струпья
Расстрелянных гильз.

Началось как всегда.
Столкновенье с войсками
В предместьи
Послужило толчком.
Были жертвы с обеих сторон.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторенное в день похорон.

И тогда-то
Загрохали ставни,
И город,
Артачась,
Оголенный,
Без качеств,
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движенье.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.



Б. Пастернак. «1905 год».
Обложка В. Роскина.
1927

Обезлюдевший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкою
Падал престиж.

Морской мятеж

Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагуря,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какою неслыханной бурей

Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.
Всё расходится врозь
И по-своему воет и гибнет,
И, свинея от тины,
По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И всё ниже спускается небо,
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молньи
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Всё сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца

Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком...
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезжившим утром потух.

Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
— Все на ют!
По местам!
На две вахты!
И в кителе некто,
Чернея от желчи,

Гаркнул:
— Смирно! —
С буксирного кнехта
Грозя семистáм.

— Недовольство?!
Кто кушать — к котлу,
Кто не хочет — на рею.
Выходи!
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообща,
Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.
— Стой!
Довольно! —
Вскричал
Озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
— Снова шашни?! —
Он скомандовал:
— Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить! —
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля:

— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
— Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! —
Трах-тах-тах...
Вынос кисти по цели
И залп на бегу.

Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам.
— Он еще на борту?! —
Залпы в воду и в воздух.
— Ага!
Ты звереешь от жалоб?! —
Залпы, залпы.
И за ноги за борт,
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,

Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
— Степа!
Наша взяла!

Машинист поднялся.
Обнялись.
— Попытаем без нянек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле и — вплавь.
Я зачем к тебе, Степа,—
Каков у нас младший механик?
— Есть один.
— Ну и ладно.
Ты мне его на́верх отправь.

День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
— Выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

Студенты

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смолкло всё.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни.
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К Моховой от Охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Алексею Максимовичу
Горькому,
величайшему выра-
зителю и изобразителю
эпохи

с почтительной и глу-
бокой любовью

Б. Пастернак
20/IX/27.
Москва

Дарственная надпись М. Горькому
на книге «1905 год».
Москва, Гос. издательство. 1927

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы — в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами —
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:
«Засада!
Назад!»
Беготня.

Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»
Ниши, лестницы, хоры,
Шинели, пробирки, кислоты.
«Тише, тише.
Кладите.
Без пульса. Готов отойти».
Двери врозь.
Вздох в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
«Третий курс!
В реактивную, на перевязку!»
«Снегом, снегом, коллега».
— Ну, как?
«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.
Завеянный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курящийся кровью мороз.
Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.
Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.

Мыльный звон пузырей.
Это в колбы палатных беспамятств
Вмуровалось
Сквозь стенку

Несущейся сходки вытье:
«Протестую. Долой».
Двери вздрагивают, упрямясь,
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забытье.

Москва в декабре

Снится городу:
Всё,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,
Из окрестностей Пресни
Летит
На Трехгорное солнце,
И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль
И прислушивается
К орудьям,
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше грудей
Баррикадные рампы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.

Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского Граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
Аквариум.
Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет
Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду, за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся седел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Куртки драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральною дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Бабах...
И — как лошади прерий —
Табуном,
Врассыпную —
И сразу легчает ему.

Шашки.
Бабьи платки.
Бакенбарды и морды вогулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухает в фидлерцев
Пушкой
Машков переулок.
Полтораста борцов
Против тьмы без числа и мерил.

После этого
Город
Пустеет дней на́ десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.
Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок,
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток

Только с год
Протянул провода.
Но и этот, поныне
Судящийся с далью сутяга,
Для борьбы
Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.

Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
Кверху,
Как к куполу цирка:
Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их — что туч.
Всё черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
«Мин и Риман»,—
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И Семеновский полк
Переводят на Брестскую ветвь.

Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,

С винчестерами, вшестером?
Перед ними бежал
И подошвы лизал
Переулок.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и сбираться.
Смеркается.
Крепнет осада.
В обручах канонады
Сараи как кольца горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
Добро, коли баня цела.
Сунься за дверь — содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороды бреют.
Но делу бритьем не помочь.
Точно мыло под кистью,
Пожар
Наплывает и пухнет.
Как от искры,

Пылает
От имени Минова ночь.

Всё забилось в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому — коноводам!
Топот, взвизги кабаньи —
На улице верная смерть.

Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казаки верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.

Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.

Июль 1925 — февраль 1926

Лейтенант Шмидт

Палящий день б
В трибуны како

Народ потел, ка
Привороженный
Крутясь в смерч
Как масло били

А позади размер
Какого-то подзе
Военный год взв
И лошадьми и с

О чем бы ни ше
Он рос кругом и
И вмешивался в

ездонным небом цел
вого ипподрома.

к хлебный квас на л



пицами качалок.

итались, что бы не́
полз по переходам.
разговор, и пепель

Часть первая

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади размерно-бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы нé пили,
Он рос кругом, и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Всё кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И, как во дни Батыевы,
Ушедший день стал странно стародавен.

2

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидал вас... Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! — Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью
в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!»

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как, что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по́ дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины,—
Откуда этот гром,
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,

От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство,
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по извечной странности
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек.
Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев.
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К не знающему сна?
За неименьем лучшего
Он ей в герои прочится.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояньям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять,
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости,
Вздремнет — и скок с дивана.
Бежит в воде похлюпаться
И снова на диван.
Потоки света рушатся,

Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества —
Он сызнова под кран.

«Давайте посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
Я всё со дня приезда
Вношу для вас в реестр,
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.

Опасность увеличится
С теченьем дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастет.
Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость,
Вы отмолчитесь скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

. . . .

Вы скажете — ребячество.
Но близятся событья.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз,
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затеи

Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадье!
И моря, и грузов, и клади
Летящие пряди.
О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки, и засовы
В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпам навстречу — увечья
Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
И в лад лейтенантовой клятве
Заплаканных взглядов и платьев
Кивки и объятья!
О лестницы в крепе! О пенье!
И хором в ответ незнакомцу
Стотысячной бронзой о бронзу:
Клянитесь! Клянемся!

О вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы! О ветер,
Щадящий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
«Потомства и памяти ради
Ни пяди обратно! Клянитесь!»
«Клянемся. Ни пяди!»

5

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
Всё сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Пари́т растрепой по ветру, как бог пошлет,
крыля.

Еще вчерашней ночью гуляющих заботил
Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И воронье редутов из вереницы метел
В полете превращалось в стаю песьих голов.

Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
Подклейстеренным пластырем следы недавних
язв.

Даровать населенью незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить, чтоб никакой...
И, зыбким киселем заслякотив засовы,
На подлинном собственной его величества рукой.

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью вётел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил,—
Саперы месят слякоть, и гуляют егеря.
Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

6

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во́ сто голов
Сечет крупой подошвы стволов,
И лоском олова берясь
На градоносном бризе,

Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.
И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.

Айва, антоновка, кизил
И море Черное вблизи:
Ращенье гор, и переворот,
И в уши и за уши, изо рта в рот.
Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослепленно скотской,
В волненьи глотающей волны, как клецки,
Сквозной, ристалищной тоски.

Аго́ния осени. Антагонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша-девица
С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
(Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоя,
Родящую мятеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою.
И — случая слепой каприз.

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски,
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на *изм*,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни,
(А разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свои?!)

И упоенье героини,
Летящей из времен над синей
Толпою,— головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.
Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссейный,
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И — дело в шляпе, капитан».
«Parlez plus bas [1],— заметил сухо
Другой.— Притом я не оглох.

---

[1] Говорите потише *(франц.).— Ред.*

Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».

Шагах в восьми, вполоборота,
В струеньи лент, как в вымпелах,
Верста матросских подбородков
Гулявших взглядами жрала.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два длинных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонилось передрягой.
Изгладилось, как, побелев,
«Ты прав!» — вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена,—
Шварк о́б землю ружье, и вмиг
Привстал и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал — другого наповал,
И рвал гайтан, и тискал тельник,
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки,
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты — не разобрав, без злобы,
Ты стой на том и будешь цел».
— «Нет, вашество, белить не пробуй,
Я вздраве наводил прицел».

«Тогда»,— и вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз:
«Ты сам пропал и арестован»,—
Восстанья присказка вилась.

8

«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «Трех Святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и — неробкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядочно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься — картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и ее ответ серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вдохнувши мерзости бессилящей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.

Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый му́кой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, средь мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на́ лето, на перегибе
От перечитанного к личному,—
Еще мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход... на фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбывши́хся иллюзий,
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе».

9

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожано́м.
Отеки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.
С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных орьентаций,

Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.
Пред этим, в понедельник,
В обеденный гудок —
Обезголосел эллинг.
И обезлюдел док.
Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочный
У выходных ворот.

Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.
Влились в тупик казармы
И — вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустились наутек.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.

Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

Часть вторая

1

Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и, несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:
Дует дальше с той же прямотой.
Вон он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вкруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух,— и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объясненье исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.

Всё же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб браться, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь — кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.
И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу...—
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настежь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
«Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?

Вы революцьонер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
«Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

3

Подросток-реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши навострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело —
К зиме.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг
За плотными драпри
Проклятья раздались
Так явственно,
Как будто тут, внутри:

— Чухнин! Чухнин?!
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я Черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клепку, в глотку.—
И мигом ока двери комнаты вразлет.
Буфет, стаканы, скатерть...
— Катер?
— Лодка!
В ответ на брошенный вопрос — матрос,
И оба — вон, очаковец за Шмидтом,
Невпопад, не в ногу, из дневного
понемногу в ночь,
Наугад куда-то, вперехват закату,
По размытым рытвинам садовых гряд.
В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот,— поворот-другой —
И вдруг, как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,

Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух:
И кубарем с последней кручи — бух
В сырую груду рухнувшего бута.

4

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и в перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.

Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И — проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И — грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий,—
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвивался сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

Он вырвался, как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.

Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух — на трех — на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,

Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок.

6

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первей?
Объехать эскадру,
Усовестить ядра,
Растрогать стальные созданья верфей.

И на миноносце ушел он туда,
Где, небо и гавань ловя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далей дымились суда.
Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
Под лад броненосцам
Качался и несся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

7

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность,
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

8

Снова, на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.
Снова, приветствуем экипажем,
На броненосцы всходил и глох,
И офицеров брал под стражу,
И уводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.
По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,

За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.

«Эх,— простонал,— подвели, канальи!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.
С суши, в порыве низкопоклонства,
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.
Всё закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

9

Был выспренен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «Терца»
Икру.

Мгновенный взрыв котельной,
Далекий крик с байдар,
И — под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

















10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружья
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась, в лету́, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

Часть третья

1

«Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат

В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Всё позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее полученья был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутаций,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, все. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет севастопольской бойни
В старых газетах — полный отчет».

2

Послепогромной областью почтовый поезд
в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает
путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск
темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет
ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает, и — к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас,
не шумите...
Нельзя же до полуночи!» И разом в лязг
и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит пó лесу, по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотясь к
простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок
платка.
Вы догадались, кто она.— Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной
пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепленье.
Он весь из камня острого, и — чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость-тезка
(Очаков — крестный дедушка повстанца-корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибоем отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся о́б стену в борьбе с судьбой
неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет ни малейших
средств.
До Ромен не доехать ей. Не скрыться от
мороки.
Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешею к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И, двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистей объятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск
пятерни.
И будет день посредственный, и разговор в
передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг
последний,
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3

Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какою неохотой пароход
Стал поднимать в ту непогоду сходни!
И утренней картины не забыть.
В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина.

Потом вдали из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухо́ртой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт»,—

И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевок,
Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже
И вдруг, застлав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако, как свежо Очаков дан у Данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака...
Всё это так, но он дорогой к коменданту,
В отличье от нее, имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
«Я — конфидентка Шмидта? Я — его дневник?
Я — крик его души из номеров Ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке, ни
в родстве?» —
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.

Но это всё затмил прием у генерала.
Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
И снег махоркой жег больные глотки луж.

5

Уездная глушь захолустья.
Распев петухов по утрам
И холостящий устье
Весенний флюс Днепра.
Таким дрянным городишкой
Очаков во плоти
Встает, как смерть, притихши
У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
Сошедши без следа,
Он стал землей в отместку
И местом для суда.
Две крепости, два погоста
Да горсточка халуп,
Свиней и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
С пригретых солнцем крыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их — соли подмесь.
Вся отмель — точно в сельдях.

О, суши воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
«Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!»
И, вбок косясь на приезжих,
Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли,— и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина...
Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.

6

Над Очаковым пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, к горсти горсть,
Хлынул шумнымувереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.

А немного погодя,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всею тучей
Водяной бурдюк дождя.

Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь — туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому.
Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.
Хлопнуть вплоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.

Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег.
И седое небо, низясь,
Сыплет пригоршнями известь.
Это зимний катехизис
Шепчут хлопья в полусне.

И, шипя, кружит крупа
По́ небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.

Пусть тоща, как щепа,—
Вязь цветочного шипа,
Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шалопая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

И, долбя и колупая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья

Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Всё живое беззаконье,
Вся душевная бурда
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собранье?
Казнью звали в те года
Переправу к Березани.
Современность просит дани:
Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтенье, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.

Будут схватки астмы. Будет чтенье,
Чтенье, чтенье без конца и пауз.

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!
Утки — крякать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

8

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалась сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.

Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за рево́львером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобу́ре.
Волнение предгрозья
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.

Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И, точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.

«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

Едва народ по-новому
Сознал конец опеки,
Его от прав дарованных
Поволокли в аптеки,

Все было вновь отобрано.
Так вечно, пункт за пунктом,
Намереньями добрыми
Доводят нас до бунта.

В те дни,— а вы их видели,
И помните, в какие —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденой
Теперь не сожалею.

Поставленный у пропасти
Слепою властью буквы,
Я не узнаю робости,
И не смутится дух мой.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

9

Двум из осужденных, а всех их было четверо,—
Думалось еще — из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
Быть в тот миг могло примерно два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настежь, и, точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, колясь о сноп лучей
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!» —
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

Март 1926 — март 1927



Портрет Б. Пастернака.
Рисунок Л. О. Пастернака.
1910

Спекторский

Я раз оставить д
Обвшегося ри

Я бедствовал. У
Ребячества прищ
Свой возраст вз
Я первую на нем

Но я не засидел
Нашелся друг от
Меня без отлага
К подбору иност

Задача состояла
О Ленине. Вним
Вылавливая их,

олжен был стезю
фмами всезнайки.

нас родился сын.



ранной лениньяны.

в ловле фраз
анье не дремало.
как водолаз,

Вступленье

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотекаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно, всё, что было слез и снов
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.

Все, как один, всяк за десятерых,
Хвалили стиль и новизну метафор,

И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцаньи плошки погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.



Б. Пастернак в доме отдыха
Одоево. 1934

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

* * *

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д'икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И всё б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отполыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре.

И в киновари ренскового солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде непрямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.

Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событье исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь — старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

1925—1931

Второе рождение
1930–1931

На даче
раннем

Волны

Здесь будет всё: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

———

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,—
Одним концом — ночное Поти,
Другим — светающий Батум.

Умеющий,— так он всевидящ,—
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь,
Огромный восьмиверстный пляж.

Огромный пляж из голых галек —
На всё глядящий без пелен —
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.

———

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей,—
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахну́т деревья и дома.

Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть,
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

———

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья; гул во рву;
Их тишь; стесненное, крутое
Волненье первых рандеву.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст на́ шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И,— черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

———

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал,—
Он сам пленял, как описанье,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

———

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных,— имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Невиданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге
И, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери,— но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впав в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла...



Б. Пастернак и К. Чуковский
на X конференции ВЛКСМ.
1932

Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по́ дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едким натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

———

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганный заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

———

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздымал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И, в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,

Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю
И выход в Грузию из Млет.

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дроби
К беде родившихся ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу всё, что знаю я.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву.
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодела,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела,
От переростка-муравья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Октябрь, а солнце, что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы,—
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромных Кобулет.

И всё ж, то знак: зима при дверях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем на берег
И ноги окунем в белок.

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

1931

Баллада

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.
Льет дождь. Я вижу сон: я взят

Обратно в ад, где всё в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах,— кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас раз пять подряд.)

Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

1930

Лето

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпеньи
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,

С землею — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панёв.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Какимувереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

Смерть поэта

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в стрóку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих,—
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал,— со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.

1930



В кулуарах I съезда писателей.
Парашютистка Нина Каменева
рассказывает группе писателей
о своем рекордном прыжке.
Слева направо: Ж.-Р. Блок,
И. Эренбург, Б. Пастернак, П. Яшвили,
И. Рахилло, И. Сельвинский,
Н. Тихонов. 1934

* * *

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз,—
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на всё по-другому.

1931

* * *

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

* * *

Всё снег да снег — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку,—
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят

Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за громом, за четверкой
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931

* * *

Любимая,— молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямей возник!
Но пусть и так,— не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

* * *

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по́ сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифму просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносится,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега,— никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

* * *

Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твое присутствие как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обернут,

Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучовый ворот,

В котором, пропотев листвой
От взятых только что препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

1931

* * *

Опять Шопен не ищет выгод,
Но́, окрыляясь на̣ лету,
Один прокладыва́ет выход
Из вероятья в право́ту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.

Два клена в ряд, за третьим, разом —
Соседней Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим —
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,
И снов без смерти, и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря,— опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей?



Б. Пастернак, А. Мальро,
В. Мейерхольд. 1936

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятьем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

1931

* * *

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовою
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья,

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.
И там, у Альп в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь,— ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.

Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1931

* * *

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Незванная, она внесла, во-первых,
Во всё, что сталось, вкус больших начал.
Я их не выбирал, и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год
Две женщины, как отблеск ламп Светлана,
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То всё равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

1931

* * *

Стихи мои, бегом, бегом,
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за́ угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом,— так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю,—
Вы— радугой по хрусталю,
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О ссадины вкруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда, едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех —
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

1931

* * *

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

1931

На ранних поездах
1936 – 1944

за твоей бородой.

, и там, где тиш

ой очень по З

, как потехой ц

изались в коно

Художник

* * *

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

* * *

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха — слюда.

Голос, властный, как полюдье,
Плавит всё наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что́ ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыханье в спальной
Паром их благословит.

* * *

Он встает. Века. Гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провел за ним в палату
Островерхих шапок ряд?

И еще века. Другие.
Те, что после будут. Те,
В уши чьи, пока тугие,
Шепчет он в своей мечте.

— Жизнь моя средь вас — не очерк.
Этого хоть захлебнись.

Время пощадит мой почерк
От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт?
Пусть он крепость, пусть и храм,
Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дверям.

Не гусляр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что еще во тьме лежат.

Как гроза, в пути объемля
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.

Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.

Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.

Зима 1936



Б. Пастернак за работой
в эвакуации в Чистополе.
1941

Из летних записок

Друзьям в Тифлисе

* * *

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком,
Всей кровию в народе.

Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса
С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся.

Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну,
Что небу дела нет —
Была ль любовь взаимна.

Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух, нескончаем.

Он — чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.

Ты без него ничто.
Он, как свое изделье,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

Чье сердце не рвалось
Ответною отдачей,
Когда он шел насквозь
Как знающий и зрячий?

Внося в инвентари
Наследий хлам досужий,
Он нами изнутри
Нас освещал снаружи.

Он выжег фетиши,
Чтоб тем светлей и чище
По образу души
Возвесть векам жилище.

Лето 1936

Летний день

У нас весною до зари
Костры на огороде,—
Языческие алтари
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану, где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.

А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.

Она отмоет верхний слой
С походелевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

И распустившийся побег
Потянется к свободе,
Устраиваясь на ночлег
На крашеном комоде.

⟨1940, 1942⟩

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся — и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

1941

Ложная тревога

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера,

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.

А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

1941



Б. Пастернак
с писательской бригадой
на фронте. 1943

Зазимки

Открыли двери, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

1944

Иней

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

1941

Вальс с чертовщиной

Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили, —
Масок и ряженых движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей.
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.

Всё разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.

Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.

Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занапастишь!
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настежь.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.

1941

На ранних поездах

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать

Почтовый или номер сорок,
А я шел на́ шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей махиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.



Б. Пастернак
в расположении 3-й армии.
1943

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941

Опять весна

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрина,

Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

1941

Дрозды

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайний, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор.
Лиловый лес на заднем плане,
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий.
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделывают глоткой,
Луженной лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок,
Подглядыванье из-за штор,

Шушуканье в углах светелок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

1941

Страшная сказка

Всё переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Избороздивший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

1941

Зима приближается

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
По прихоти неба капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого,
Накрытые ночью, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и ли́станней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою
Как бы на середке открыта.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

Памяти Марины Цветаевой

Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастьи мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

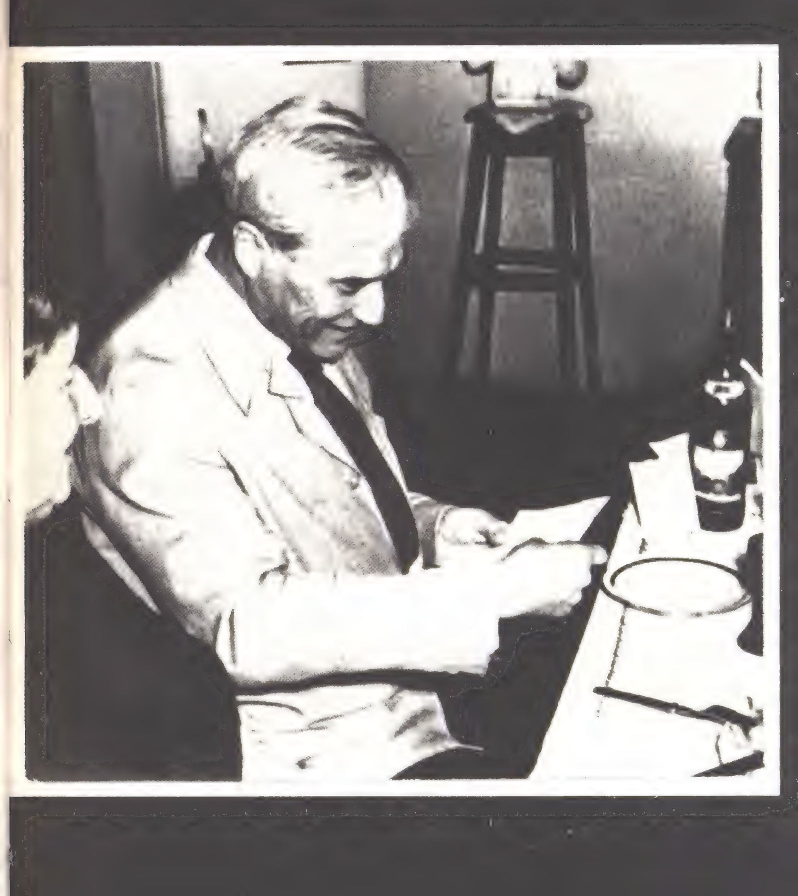
Ах, Марина, давно уже время,—
Да и труд не такой уж ахти —
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

———

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

















Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут все — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима — как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к богу,
Ты тянешься к нему с земли.
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943

Смерть сапера

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она —
Везде, везде, до самой кручи.

Как паутиною, опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю,—
И вновь и вновь терял сознанье.

Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,—
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,

Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943

Ожившая фреска

Как прежде, падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проведывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней.
И от копья архистратига ли
По темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облекался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пущи,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею

Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

1944

Весна

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Всё дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвесть столетье.

1944

Стихотворения Юрия Живаго 1946–1953

ышел на подмос

дверному косяку

еком отголоске

замысел упрям

гласен эту роль

ейчас другая драма

раз меня уволь.

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

Март

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все — конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И, всего живитель и виновник,—
Пахнет свежим воздухом навоз.

1946

Белая ночь

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоем подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамою
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится.
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоневые и вишенные
Одеваются цветом белесым.

И деревья, как призраки белые,
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, видавшей так много.

1953

Весенняя распутица

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Доро́гой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

1953

Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди, и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять всё безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

1947

Ветер

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

1953

Хмель

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.

1953

Свадьба

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки



Б. Пастернак в доме
в Лаврушинском переулке.
1948

Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, в глубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

1953

Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Зарой́ся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

1949

Август

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.



Б. Пастернак с сыном Лёней.
1948

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Сквозной, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

1953

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

1946

Разлука

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был — как побег.
Везде следы разгрома,

Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

1953

Свидание

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд,

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

1949

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.



Б. Пастернак. 1950

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду,—
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда рождества.

1947

Рассвет

Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я всё готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые

На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И, чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

1947

Земля

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

1947

Когда разгуляется
1956—1959

хочется до

в поисках пу

схват… все

чувствова

Un livre est un grand cimetiére oú sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.

Marcel Proust[1].

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

---

[1] Книга — это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена. *Марсель Пруст (франц.).— Ред.*

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

1956

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.

1956

Ева

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят нá берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятья,
Сама — смятенье и испуг
И сердца мужеского сжатье.

1956

Перемена

Я льнул когда-то к беднякам —
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свесть
С людьми из трудового званья,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже не верен.
Я человека потерял,
С тех пор как всеми он потерян.

Без названия

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно, на свету, в темноте,
Ты всегда руссуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

По́шло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

1956

Июль

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одёже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

1956



Б. Пастернак. 1956

Тишина

Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.

В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заворожена,
А по совсем другой причине.

Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.

Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя обгладывает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.

Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожбой,
Глазеют, обступив кустарник.

Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.

Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.

1957

Когда разгуляется

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопленье облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоти покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

1956

Заморозки

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Прохожий узнается позже,
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей,
И воздух лжив, как слой румян.

Идешь по инею дорожки,
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки
И стынуть больше невтерпеж.

1956

Ночной ветер

Стихли песни и пьяный галдеж.
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.

Только ветер бредет наугад
Всё по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.

Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.

Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними — заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов
На дороге деревья толпятся.

1957

Золотая осень

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах,

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный,

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный,

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

1956

Ночь

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.



Б. Пастернак в Переделкине.
1956

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

1956

Ветер

(Четыре отрывка о Блоке)

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,—
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

———

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька-фалетер [1]
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед-якобинец,
Кристальной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

[1] Форейтор в старом народном произношении. *(Примеч. Б. Пастернака.)*

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.

Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится
Постигнет страну ураган.

Блок нá небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

1956

Дорога

То насыпью, то глубью лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощеные извивы,
Не слякотя и не пыля.

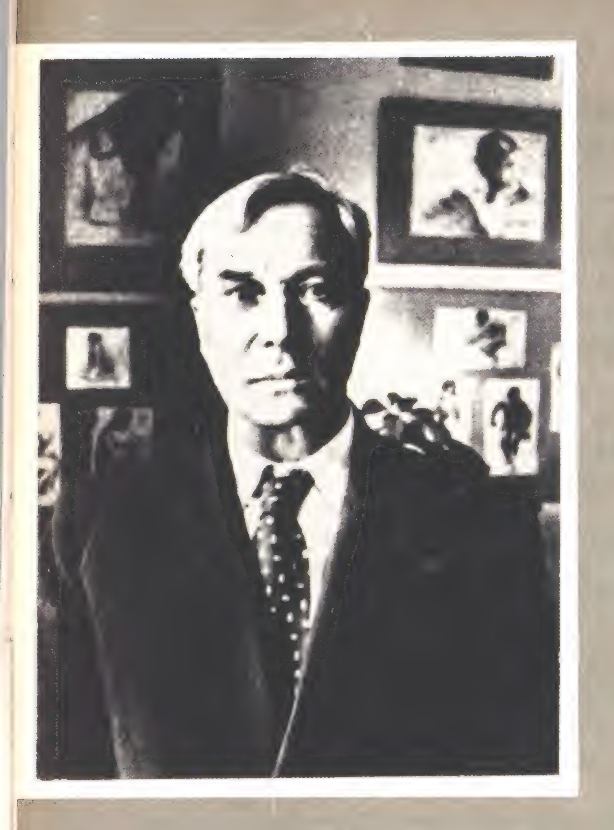
Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.

Вперед то по́д гору, то в гору
Бежит прямая магистраль.
Как разве только жизни впору
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома —
Всё пережить и всё пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимоидущего пути.

1957



Б. Пастернак. 1956

В больнице

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину,
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О господи, как совершенны
Дела твои,— думал больной,—
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр»

1956

Музыка

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме
Как под водой на дне легенд
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске

До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

1956

Снег идет

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет,—
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

1957

После вьюги

После угомонившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К голосам детворы за рекой.

Я, наверно, неправ, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любуется лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Всё в снегу: двор и каждая щепка
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес, и рельсы, и насыпь, и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги,
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

1957

Вакханалия

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,

Клочья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов,— симптомах
Вековых перемен,—
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

———

«Зимы», «зисы» и «татры»,
Сдвинув по́лосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.

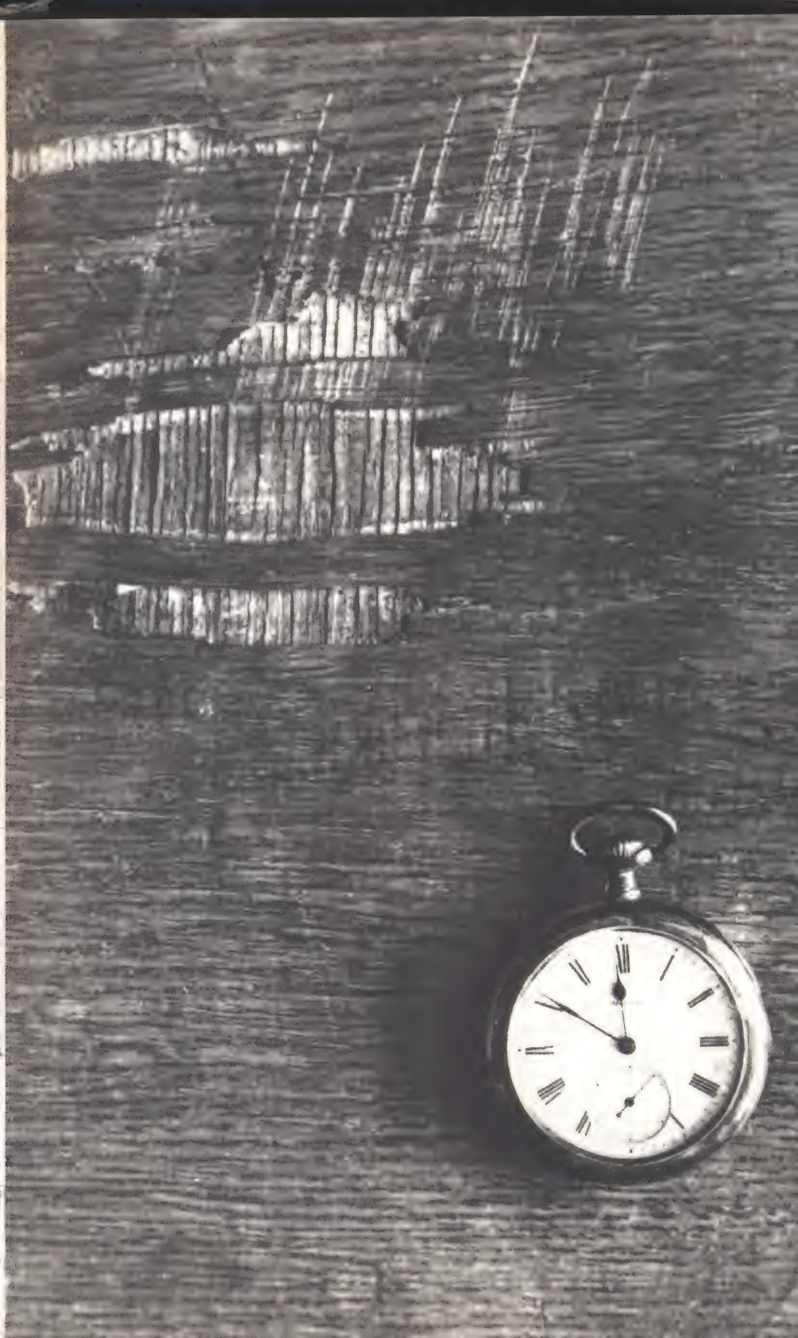
Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.

















———

За дверьми еще драка,
А уж средь темноты
Вырастают из мрака
Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.

Всё в ней жизнь, всё свобода,
И в груди колотьё,
И тюремные своды
Не сломили ее.

Стрекозою такою
Родила ее мать
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.

И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмостки,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,

Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река.

Как играют алмазы
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,

Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

* * *

И опять мы в метели,
А она всё метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.

Где-то пир. Где-то пьянка,
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку,
Свален ворох одеж.

Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен,
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры,

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины и бюсты
И сережки в ушах.

И смертельней картечи
Эти линии рта,

Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он средь женщин находчив,
Средь мужчин — нелюдим.

В третий раз разведенец,
И, дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

———

Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.

И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время —
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.

И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.

На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих ·руках?

Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.
Состав земли не знает грязи,
Всё очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

1957



В Вахтанговском театре.
Слева направо: Ю. Яковлев,
В. Шлезингер, Е. Симонов,
Б. Пастернак, М. Ульянов.
1956

Всё сбылось

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Всё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за́ пять,
У дальних землемерных вех,
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.

1958

Поездка

На всех парах несется поезд,
Колеса вертит паровоз.
И лес кругом смолист и хвоист,
И что-то впереди еще есть,
И склон березами порос.

И путь бежит, столбы простерши,
И треплет кудри контролерши,
И воздух делается горше
От гари, легшей на откос.

Беснуются цилиндр и поршень,
Мелькают гайки шатуна,
И тенью проплывает коршун
Вдоль рельсового полотна.

Машина испускает вздохи
В дыму, как в шапке набекрень,
А лес, как при царе Горохе,
Как в предыдущие эпохи,
Не замечая суматохи,
Стоит и дремлет по сей день.

И где-то, где-то города
Вдали маячат, как бывало,
Куда по вечерам устало
Подвозят к старому вокзалу
Новоприбывших поезда.

Туда толпою пассажиры
Текут с вокзального двора,
Путейцы, сторожа, кассиры,
Проводники, кондуктора.

Вот он со скрытностью сугубой
Ушел за улицы изгиб,

Вздымая каменные кубы
Лежащих друг на друге глыб,
Афиши, ниши, крыши, трубы,
Гостиницы, театры, клубы,
Бульвары, скверы, купы лип,
Дворы, ворота, номера,
Подъезды, лестницы, квартиры,
Где всех страстей идет игра
Во имя переделки мира.

1958

Женщины в детстве

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Рядом к девочкам кучи знакомых
Заходили и толпы подруг,
И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.

Или взрослые женщины в гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.

Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить, словно бич,
Чтоб впоследствии страсть, как науку,
Обожанье, как подвиг, постичь.

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо,—
Перед ними я всеми в долгу.

1958

После грозы

Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздных
Сирень вбирает свежести струю.

Все живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но все светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

1958

Божий мир

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

1959

Единственные дни

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим,
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

1959

Стихотворения, не включенные в основное собрание

славу, оставила ка
всякомъ и старши
ретликъ, тупую въ

критикъ
Кор еа
гарити на людa
енческимъ глазъ Богатой
сказкой о людяхъ.

* * *

Вслед за мной все зовут вас барышней,
Для меня ж этот зов зачастую,
Как акт наложенья наручней,
Как возглас: «Я вас арестую».

Нас отыщут легко все тюремщики
По очень простой примете:
Отныне на свете есть женщина
И у ней есть тень на свете.

Есть лица, к туману притертые
Всякий раз, как плашмя на них глянешь,
И только одною аортою
Лихорадящий выплеснут глянец.

1914

* * *

Как казначей последней из планет,
В какой я книге справлюсь, горожане,
Во что душе обходится поэт,
Любви, людей и весен содержанье?

Однажды я невольно заглянул
В свою еще не высохшую роспись —
И ты — больна, больна миллионом скул,
И ты — одна, одна в их черной оспе!

Счастливая, я девушке скажу.
Когда-нибудь, и с сотворенья мира
Впервые, тело спустят, как баржу,
На волю дней, на волю их буксира.

Несчастная, тебе скажу, жене
Еще не позабытых похождений,
Несчастная затем, что я вдвойне
Люблю тебя за то и это рвенье!

Может быть, не поздно.
Брось, брось,
Может быть, не поздно еще.
Брось!

Ведь будет он преследовать
Рев этих труб,
Назойливых сетований
Поутру, ввечеру:

Зачем мне так тесно
В моей душе
И так безответствен
Сосед!

Быть может, оттуда сюда перейдя
И перетащив гардероб,
Она забыла там снять с гвоздя,—
О, если бы только салоп!

Но, без всякого если бы, лампа чадит
Над красным квадратом ковров,
И, без всякого если б, магнит, магнит —
Ее родное тавро.

Ты думаешь, я кощунствую?
О нет, о нет, поверь!

Но, как яд, я глотаю по унции
В былое ведущую дверь.

Впустите, я там уже, или сойду
Я от опозданья с ума,
Сохранна в душе, как птица на льду,
Ревнивой тоски сулема.

Ну понятно, в тумане бумаг, стихи
Проведут эту ночь во сне!
Но всю ночь мои мысли как сосен верхи —
К заре — в твоем первом огне.

Раньше я покрывал твои колени
Поцелуями от всего безрассудства.
Но, как крылья, растут у меня оскорбленья,
Дай и крыльям моим к тебе прикоснуться!

Ты должна была б слышать, как песню
в кости,
Охранительный окрик: «Постой,
не торопись!»
Если б знала, как будет нам больно расти
Потом, втроем, в эту узкую высь!

Маленький, маленький зверь,
Дитя больших зверей,
Пред собой, за собой проверь
Замки у всех дверей!

Давно идут часы,
Тебя не стали ждать,

И в девственных дебрях красы
Бушует: «Опять, опять...»

. . . .

Полюбуйся ж на то,
Как всевластен размер,
Орел, решето?
Ты щедра, я щедр.

Когда копилка наполовину пуста,
Как красноречивы ее уста!
Опилки подчас звучат звончей
Копилки и доверху полной грошей.

Но поэт, казначей человечества, рад
Душеизнурительной цифре затрат,
Затрат, пошедших, например,
На содержанье трагедий, царств и химер.

* * *

Записки завсегдатая
Трех четвертей четвертого,
Когда не к людям — к статуям
Рассвет сады повертывает,

Когда ко всякой всячине
Пути — куда туманнее,
Чем к сердцу лип, охваченных
Росою и вниманием.

На памяти недавнего
Рассвета свеж тот миг,
Когда с зарей я сравнивал
Бессилье наших книг.

Когда, живей запомнившись,
Чем лесть, чем лед, чем ложь,
Меня всех рифм беспомощность
Взяла в свое щемло.

Но странно, теми ж щёмлами
Был сжат до синяков
Сон яблони, надломленной
Ярмом особняков.

1922

1 Мая

О город! О сборник задач без ответов,
О ширь без решенья и шифр без ключа!
О крыши! Отварного ветра отведав,
Кыш в траву и марш, тротуар горяча!

Тем солнцем в то утро, в то первое мая
Умаяв дома до упаду с утра,
Сотрите травою до первых трамваев
Грибок трупоедских пиров и утрат.

Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок
Бежит, в рубежах дребезжа, синева
И, бредя исчезнувшим снегом, вдобавок
Разносит над грязью без связи слова.

О том, что не быть за сословьем четвертым
Ни к пятому спуска, ни отступа вспять,
Что счастье, коль правда, что новым нетвердым
Плетням и межам меж людьми не бывать.

Что ты не отчасти и не между прочим
Сегодня с рабочим,— что всею гурьбой
Мы в боги свое человечество прочим.
То будет последний решительный бой.

1923



Б. Пастернак
с актером Грюдгенсом.
1959

Из записок Спекторского

(Отрывок)

После поля у города свой аромат.
Свой букет после кашки у пива и пыли.
В оскопленном пространстве скопленья громад
По приезде нам кажутся ниже, чем были.

Никаких небоскребов, а наоборот,
Снизу доверху выщербленные пещеры.
Освещенные окна у Красных Ворот
Режут глаз желтизною клеенки и серы.

Было поздно, и дом, обведенный сурьмой,
Был овеян дремой, и молчала, отцокав
Мостовая, когда я вернулся домой,
Насидясь в поездной толкотне до отеков.

Брезжил день. Пред отъездом в деревню вдова
Поручила мне сдачу гостиной и зала.
Но, доверив дверные ключи и права,
Одного мне хозяйка на грех не сказала.

Что б прибавить? «Да спите ночами, как все.
Полунощничать — таять. Работайте в меру».
Вышло ж так, что в нашедшей тогда полосе
Отпирал я зарницам, а не инженерам.

Провожал до сеней не врачей — вечера,
Вопреки объявленью готовый к услугам
Только в белые ночи, когда до утра
Размышлял и вокзалы ревели белугой.

Белой ночью не ищут квартир. Белым днем
Отсыпался я либо ходил по урокам.
Зал проветривался и сдавался внаем,
В нем дышалось ночами, как в море широком.

Бормоча, как пророк, приценялся Илья
К помещенью. Лило. Появлялся Бетховен.
И тогда с мезонина спускался и я,
Точно лоцман по лунному морю диковин.

Было поздно, когда я вернулся домой.
Вот окно, и табак, и рояль. Все в порядке.
Пять прямых параллелей короче прямой,
Доказательство — записи в нотной тетрадке.

На часа полтора затянулся привал.
За работу тянуло. Я знал,— я в ударе.
Но загадочный запах не ослабевал.
В доме пахло какой-то слащавою гарью.

Под вдовой проживал многодетный портной.
Ну да к черту портных и игру обонянья.
Но загадочный смрад разливался волной.
В доме пахло какой-то упорною дрянью.

Рассветало, и зал отдавался внаем.
Я с парадного ринулся к черному ходу.
О, как мы молодеем, когда узнаем,
Что — горим... (Не хватает конца эпизода).

<1925>

На смерть Полонского

Ты был обречен. Твой упрек
Сразил меня смыслом сугубым.
Я видел, и не уберег.
Узнал, и прошел душегубом.

Ты дрался — я жил под шумок,
Ты бурно взывал из дежурной
На помощь, и я не помог.
Но урной и я буду, урна!

И речь моя рвется вперед
Не с тем, чтоб греметь в правнучатах,
А только торопит черед,
Чтоб не горевать в провожатых.

Есть будущее. И туда
Мое за тебя благодарствуй.
Там памятливей города,
Признательнее государства.

В ту область открытых сердец
И шлю я, былого подонок,
«Прости» свое, смелый борец,
И неосторожный ребенок.

<1932>

* * *

Все наклоненья и залоги
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду

Я их переношу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось, альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego *,
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацветал, как курослеп,
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженый, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это — лепкою судеб.

Как вдруг — издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

С тех пор все изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

---

* Другое «я», двойник *(лат.)*.

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод,
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он — прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся,— не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Поймем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

<1936>

Русскому гению

Не слушай сплетен о другом.
Чурайся старых своден.
Ни в чем не меряйся с врагом,
Его пример не годен.

Чем громче о тебе галдеж,
Тем умолкай надменней.
Не довершай чужую ложь
Позором объяснений.

Ни с кем соперничества нет.
У нас не поединок.
Полмиру затмевает свет
Несметный вихрь песчинок.

Пусть тучи пыли до небес,
Ты высишься над прахом.
Вся суть твоя — противовес
Коричневым рубахам.

Ты взял над всякой спесью верх
С того большого часа,
Как истуканов ниспроверг
И вечностью запасся.

Оставь врагу его болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине.

1941

* * *

Грядущее на все изменит взгляд,
И странностям, на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем.

Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подыму в ее защиту.

И я припомню страшную войну,
Народу возвратившую оружье,
И старое перебирать начну,
И городок на Каме обнаружу.

Я с палубы увижу огоньки,
И даль в снегу, и отмели под сплавом,
И домики на берегу реки,
Задумавшейся перед рекоставом.

И в тот же вечер разыщу семью
Под каланчою в каменном подвале,
И на зиму свой труд обосную
В той комнате, где Вы потом бывали.

Когда же безутешно на дворе
И дни всего короче и печальней,
На общем выступленьи в ноябре
Ошанин познакомит нас в читальне...

1942

1917—1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишеньям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной не повинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942

Бессонница

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью
на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.

А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

1953

Под открытым небом

Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

1953

* * *

Деревья, только ради вас,
И ваших глаз прекрасных ради,
Живу я в мире в первый раз,
На вас и вашу прелесть глядя.

Мне часто думается — бог
Свою живую краску кистью
Из сердца моего извлек
И перенес на ваши листья.

И если мне близка, как вы,
Какая-то на свете личность,
В ней тоже простота травы,
Листвы и выси непривычность.

1957

Чувство жизни

Существовать не тяжело.
Жить — самое простое дело.
Зарделось солнце и взошло
И теплотой пошло по телу.

Со мной сегодня вечность вся,
Вся даль веков без покрывала.
Мир божий только начался.
Его в помине не бывало.

Жизнь и бессмертие одно.
Будь благодарен высшим силам
За приворотное вино,
Бегущее огнем по жилам.

⟨1957⟩

Переводы

ШЕКСПИР

Из английской поэзии

Вильям Шекспир

Сонет 66 [1]

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу,
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

---

[1] Печатается, как и следующие далее переводы стихотворений Байрона, Верлена, Рильке, по кн.: Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов в переводе Бориса Пастернака.— М.: Прогресс, 1966.

Джордж Гордон Байрон

Стансы к Августе

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передряги,
И любовью, которой черты
Столько раз доверял я бумаге,
Остаешься мне в жизни лишь ты.

Оттого-то, когда мне в дорогу
Шлет природа улыбку свою,
Я в привете не чаю подлога
И в улыбке тебя узнаю.
Когда ж вихри с пучиной воюют,
Точно души в изгнаньи скорбя,
Тем-то волны меня и волнуют,
Что несут меня прочь от тебя.

И хоть рухнула счастья твердыня
И обломки надежды на дне,
Все равно, и в тоске и в уныньи
Не бывать их невольником мне.
Сколько б бед ни нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь — но себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ты не лукава,
Ты из женщин, но им не чета,
Ты любви не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета.
Ты от слова не ступишь и шагу,
Ты в отъезде — разлуки как нет.
Ты на страже, но дружбе во благо,
Ты беспечна, но свету во вред.

Я ничуть его низко не ставлю.
Но в борьбе одного против всех
Навлекать на себя его травлю
Так же глупо, как верить в успех.
Слишком поздно узнав ему цену,
Излечился я от слепоты:
Мало даже утраты вселенной,
Если в горе наградою — ты.

Гибель прошлого, все уничтожа,
Кое в чем принесла торжество:
То, что было всего мне дороже,
По заслугам дороже всего.
Есть в пустыне родник, чтоб напиться,
Деревцо есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.

Из французской поэзии

Поль Верлен

Зелень

Вот листья, и цветы, и плод на ветке
спелый,
И сердце, всем биеньем преданное вам.
Не вздумайте терзать его рукою белой
И окажите честь простым моим дарам.

Я с воли только что и весь покрыт росою,
Оледенившей лоб на утреннем ветру.
Позвольте, я чуть-чуть у ваших ног в покое
О предстоящем счастье мысли соберу.

На грудь вам упаду и голову понурю,
Всю в ваших поцелуях, оглушивших слух,
И знаете, пока угомонится буря,
Сосну я, да и вы переведете дух.

Искусство поэзии

За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.

Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.

Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвежживает как попало.

Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.

Нет ничего острот коварней
И смеха ради шутовства:
Слезами плачет синева
От чесноку такой поварни.

Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не ты — куда зайдут они?

Кто смерит вред от их подрыва?
Какой глухой или дикарь
Всучил нам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?

Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоем стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.

Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.



Б. Пастернак в кабинете
в Переделкине.
1958

Томление

Я — римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.

Душе со скуки нестерпимо гадко,
А говорят, на рубежах бои.
О не уметь сломить лета свои!
О не хотеть прожечь их без остатка!

О не хотеть, о не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!

Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела.

Хандра

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

Из немецкой поэзии

Райнер Мария Рильке

За книгой

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся, куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.

А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог.
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.

И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!

Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
А крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

Созерцание

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах.
И я их сообщений странных
Не в силах слышать средь нежданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем,— малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.

Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.



Б. Пастернак.
Переделкино, 1958

Из грузинской поэзии

Николоз Бараташвили

Таинственный голос [1]

Чей это странный голос внутри?
Что за причина вечной печали?

С первых шагов моих, с самой зари
Только я бросил места, где бежали
Детские дни наших игр и баталий,
Только уехал из лона семьи,—
Голос какой-то, невнятный и странный,
Сопровождает везде, постоянно
Мысли, шаги и поступки мои:
«Путь твой особый. Ищи и найдешь».
Так он мне шепчет. Но я и доныне
В розысках вечных и вечно в унынье.
Где этот путь, и на что он похож?
Совести ль это нечистой упрек
Мучит меня затаенно порою?
Что же такого содеять я мог,
Чтобы лишить мою совесть покоя?
Ангел-хранитель ли это со мной?
Демон ли, мой искуситель незримый?
Кто бы ты ни был,— поведай, открой,
Что за таинственный жребий такой
В жизни готовится мне, роковой,
Скрытый, великий и неотвратимый?

---

[1] Переводы стихотворений Н. Бараташвили печатаются по кн.: Николоз Бараташвили. Стихотворения. Поэма.— Тбилиси: Мерани, 1982.

Раздумья на берегу Куры

Иду, расстроясь, на берег реки
Тоску развеять и уединиться.
До слез люблю я эти уголки,
Их тишину, раздолья без границы.

Ложусь и слушаю, как не спеша
Течет Кура, журча на перекатах.
Она сейчас зеркально хороша,
Вся в отблесках лазури синеватых.

Свидетельница многих, многих лет,
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?
И воплощеньем суеты сует
Представилась мне жизнь в минуту эту.

Наш бренный мир — худое решето,
Которое хотят долить до края,
Чего б ни достигали мы, никто
Не удовлетворялся, умирая.

Завоеватели чужих краев
Не отвыкают от кровавых схваток.
Они, и полвселенной поборов,
Мечтают, как бы захватить остаток.

Что им земля, когда, богатыри,
Они землею завтра станут сами?
Но и миролюбивые цари
Полны раздумий и не спят ночами.

Они стараются, чтоб их дела
Хранило с благодарностью преданье,
Хотя, когда наш мир сгорит дотла,
Кто будет жить, чтоб помнить их деянья?

Но мы сыны земли, и мы пришли
На ней трудиться честно до кончины.
И жалок тот, кто в памяти земли
Уже при жизни станет мертвечиной.

* * *

Глаза с туманной поволокою,
Полузакрытые истомой,
Как ваша сила мне жестокая
Под стрелами ресниц знакома!

Руками белыми, как лилии,
Нас страсть заковывает в цепи.
Уже нас не спасут усилия,
Мы пленники великолепья.

О взгляды острые, как ножницы!
Мы славим вашу бессердечность
И жизнь вам отдаем в заложницы,
Чтоб выкупом нам стала вечность.

* * *

Мужское отрезвленье — не измена.
Красавицы, как вы ни хороши,
Очарованье внешнее мгновенно.
Краса лица — не красота души.

Печать красы, как всякий отпечаток,
Когда-нибудь сотрется и уйдет.
Со стороны мужчины — недостаток:
Любить не сущность, а ее налет.

Природа красоты — иного корня
И вся насквозь божественна до дна,
И к этой красоте, как к силе горней,
В нас вечная любовь заронена.

Та красота сквозит в душевном строе
И никогда не может стать стара.
Навек блаженны любящие двое,
Кто живы силами ее добра.

Лишь между ними чувством все согрето,
И если есть на свете рай земной,
Он во взаимной преданности этой,
В бессмертной этой красоте двойной.

* * *

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты.
Это облик высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый, зимний дым
Мглы над именем моим.



Тициан Табидзе[1]

* * *[1]

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места
сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Под ливнем лепестков родился я в апреле.
Дождями в дождь, белея, яблони цвели.
Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.
Как слезы глаз моих — они мне издали.

В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то
Случайно нападут на строчек этих след,
Замолвят без меня они в мою защиту,
А будет то поэт — так подтвердит поэт:

Да, скажет, был у нас такой несчастный малый
С орпирских берегов — большой оригинал.
Он припасал стихи, как сухари и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу брал.

И до того он был до самой смерти мучим
Красой грузинской речи и грузинским днем,
Что верностью обоим, самым лучшим,
Заграждена дорога к счастью в нем.

---

[1] Переводы стихотворений Т. Табидзе печатаются по кн.: Тициан Табидзе. Стихотворения и поэмы.— М.; Л.: Сов. писатель, 1964.

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит.
И заживо схоронит. Вот что стих.

Ликование

Как кладь дорожную, с собою
Ношу мечту грузинских сел.
Я к Грузии губам трубою
Прижатый тростниковый ствол.

Я из груди бы сердце вынул,
Чтоб радость била через край,
Чтоб час твоей печали минул.
Свободно мной располагай.

Поют родные горы хором,
На смерть сейчас меня пошли —
Я даже и тогда укором
Не упрекну родной земли.

С поэта большего не требуй,
Все пули на меня истрать,
И на тебя я буду с неба
Благословенье призывать.

* * *

Если ты — брат мне, то спой мне за чашею,
И перед тобой на колени я грянусь.
Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.

Кто дал окраску мухранскому соку?
Кто — зеленям на арагвинском плёсе?
Есть ли предел золотому потоку,
Где б не ходили на солнце колосья?

Если умрет кто нездешний, то что ему —
Горы иль сон, эта высь голиафья?
Мне ж, своему, как ответить по-своему
Этим горящим гостям полуяви?

Где виноградникам счет, не ответишь ли?
Кто насадил столько разом лозины?
Лучше безродным родиться, чем детищем
Этой вот родины неотразимой.

С ней мне и место, рабу, волочащему
Цепью на шее ее несказанность.
Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.

Комментарии

В настоящем издании, как и во всех прижизненных сборниках Пастернака, сохраняется принцип группировки стихотворений по книгам. Каждая из девяти лирических книг Пастернака строилась как единое композиционное целое со своим особым миром. Один из разделов настоящего издания составляют стихи, не включавшиеся автором в книги, печатавшиеся в периодике, вынутые из переизданий или сохранившиеся в автографах. В сборник входят некоторые переводы из английской, французской, немецкой и грузинской поэзии.

Начальная пора. 1912—1914

«Февраль. Достать чернил и плакать!..» (с. 32). Написано весною 1912 г. и открывало собой первую публикацию Пастернака в маленьком альманахе «Лирика» (1913). Образ «черной весны» восходит к названию стихотворения И. Анненского 1906 г. Пастернак писал, что это «время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь» (письмо О. Г. Силловой 22 февраля 1935 г.).

«Как бронзовой золой жаровень...» (с. 32). Написано летом 1912 г. в Марбурге, входило в первую публикацию в альманахе «Лирика». Отражение неба и цветущего сада в зеркале пруда стало устойчивым образом поэтики Пастернака.

Сон (с. 34). Это и следующие шесть стихотворений написаны летом 1913 г. и вошли в первый сборник Пастернака «Близнец в тучах» (1914). Ориентировано на образно-композиционную структуру стихотворения Лермонтова «Сон».

«Я рос. Меня, как Ганимеда...» (с. 34). Древнегреческий миф о Ганимеде, которого мальчиком похитил Зевс и воспитывал среди богов Олимпа, был, по мнению Пастернака, свидетельством того, насколько высоко в Греции стояло понимание детства как «заглавного интеграционного ядра» всей последующей жизни. Сравнение себя с Ганимедом обусловлено у Пастернака высотой и одухотво-

ренностью артистической атмосферы родительского дома, где почти ежедневно бывали самые знаменитые имена художественного мира.

Вокзал (с. 38). Рассказывая в очерке «Люди и положения» о работе над своей первой стихотворной книгой, Пастернак писал: «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину... Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них». *Намордники гарпий* — сетчатые колпаки на трубах паровоза для предохранения от раскаленных угольков.

Венеция (с. 39). Пастернак провел в Венеции несколько дней в августе 1912 г. В стихотворении, как он писал родителям летом 1914 г., он хотел передать впечатление от города, «где чуткость достигает того предела напряжения, когда все готово стать осязаемым и даже отзвучавшее, отчетливо взятое арпеджио на канале перед рассветом повисает каким-то членистотелым знаком одиноких в утреннем безлюдьи звуков». Далее в письме дается нотное изображение трезвучия, похожее на трезубец.

Трезубцем в астрономии обозначается созвездие Скорпиона.

Зима (с. 40). Образ человека, слушающего шум морской раковины, встречается в первых прозаических опытах Пастернака 1911—1912 гг. Зимние праздники и елка — излюбленная тема творчества Пастернака. *Море волнуется* — детская игра, для которой требуется много участников. *Стаканчики купороса* ставились на зиму между рамами, чтобы не потели стекла.

Зимняя ночь (с. 41). В первом издании стихотворение было посвящено Иде Высоцкой и было вызвано ее приездом в Москву в 1913 г. и воспоминанием о июне 1912-го, когда она ответила Пастернаку отказом на сделанное предложение.

Поверх барьеров. 1914—1916

Двор (с. 44). Первоначально стихотворение называлось «Посвящение» и открывало вторую книгу стихов Пастернака «Поверх барьеров» (1917). Написано под впечатлением от знакомства со стихами английского поэта Ч. О. Су-

инберна (1837—1909). Предварял книгу эпиграф из Суинберна, находящийся в тесной связи со стихотворением «Двор»: «Душе моей души, которой радостна песня, что выше моей». *Градирня* — устройство для выпаривания соли. *Крепкие тьме полыханьем огней.*— «Крепкие кому-либо чемлибо (помещику, князю, хану, султану, данью, податью, оброком) значит обязанный, подвластный»,— объяснял Пастернак устаревшее выражение. *Баскак* — сборщик подати при татарском иге. *Трехгорное* — пиво.

Петербург (с. 46). Написано под непосредственным впечатлением короткой поездки в Петроград в декабре 1915 г. Строка из третьего стихотворения стала названием книги «Поверх барьеров», определением силы таланта, преодолевающего преграды. В стихотворении сказалась преемственность пушкинской концепции личности Петра I. *Гайдук* — лакей для выезда. *Кнастер* — табак. *Нарвская* (застава), *Охта* — окраинные районы Петербурга. *Прапор* — знамя.

«Не как люди, не еженедельно...» (с. 49). *С чем бы стал ты есть земную соль?* — «солью земли» назвал Христос в Евангелии своих учеников (Матфей 5, 13).

Метель (с. 50). Стихотворения навеяны поздними прогулками в Замоскворечье, где зимой 1914 г. жили сестры Синяковы, с которыми Пастернак был дружен. О праздновании Рождества 1914 г. у Синяковых вспоминал Пастернак в «Охранной грамоте». Отождествление снежного вихря с нечистой силой — устойчивый мотив народно-религиозного сознания, продолженный поэтической традицией «Бесов» Пушкина и «Снежной маски» Блока. Отсюда сопоставление метели с беснующейся уличной стихией *Варфоломеевской ночи* в Париже, когда 24 августа 1572 г. католики метили двери обреченных гугенотов белыми крестами. *Адмирал Колиньи* — вождь гугенотов и первая жертва резни.

Урал впервые (с. 52). Пастернак пробыл на Урале с января по июнь 1916 г., работал конторщиком на химических заводах во Всеволодо-Вильве в Пермской губернии. Уральский пейзаж нарисован из окна движущегося поезда, причем лучи восходящего из-за гор солнца и бегущие, как на лыжах, названы «*азиатцами*», поскольку за хребтом Урала начинается Азия. *Покров из камки и сусали* — старинная шелковая ткань, украшенная золотом и цветными узорами.

Весна (с. 53). Стихотворения передают удивительную яркость красок весны 1914 г., последней мирной весны перед войной. «Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре расстались навсегда»,— писал Пастернак в «Охранной грамоте». Сравнение *поэзии* с *губкой*, впитывающей и воспринимающей живой мир,

было раскрыто в письме к родителям 7 февраля 1917 г.: «Вещь, как губка, пропитывается всегда... всем тем, что вблизи ее находилось: приключеньями ближайшими, событиями, местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней». *Брыжжи и фижмы* — пышные воротники и юбки. *Ледяной лимон обеден.*— Объясняя итальянскому переводчику А. М. Рипеллино этот образ, Пастернак писал, что объединил в нем впечатления от «церковной службы и сзывающего к обедням благовеста (колокольного звона) и высящихся в небе колоколен и золотящихся на них крестов».

Импровизация (с. 58). Пастернак в юности готовился стать композитором и за шесть лет с 1903 по 1909 прошел курс консерватории. Из написанных им сочинений сохранилась соната для фортепиано 1909 г., тематически очень близкая стихотворению.

На пароходе (с. 59). Написано 17 мая 1916 г. на Урале, во Всеволодо-Вильве, через четыре дня после возвращения из двухдневной поездки в Пермь.

Из поэмы (с. 60). «Поэма о ближнем» писалась в феврале 1917 г. и была, по словам Пастернака, «первой попыткой выйти за тесные грани лирической миниатюры». Сохранившиеся наброски неоконченной поэмы посвящены воспоминаниям любви к Иде Высоцкой, были переработаны для издания в 1928 г.

Марбург (с. 62). Три летних месяца с мая по август 1912 г. Пастернак провел в Германии, занимаясь философией в университете города Марбурга. Там произошло его объяснение с приехавшей Идой Высоцкой. С драматическими событиями в Марбурге связалась у Пастернака победа творческого начала над самоубийственными тенденциями молодости. Пребыванию в Марбурге посвящена центральная часть «Охранной грамоты». Началом своей литературной биографии Пастернак считал написанные в Марбурге стихотворения.

Сестра моя — жизнь. Лето 1917 года

Про эти стихи (с. 68). Перечисление в стихотворении поэтов-романтиков Байрона, Эдгара По и Лермонтова стоит в прямой связи с общим замыслом книги «Сестра моя — жизнь», протестующей против несправедливости и лживости общественных установлений. Книга посвящена Лермонтову. «Я посвятил «Сестру мою — жизнь» не памяти Лермонтова, но самому поэту, точно он был в живых среди нас, его духу, все еще живущему в нашей литературе»,— писал Пастернак своему английскому переводчику

Ю. Кейдену 22 августа 1958 г. *Цейхгауз, Арсенал* — склады оружия.

«Сестра моя жизнь и сегодня в разливе...» (с. 69). Начальные слова стихотворения, ставшие названием всей книги, используют формулу обращения святого Франциска Ассизского (XIII в.). В стихотворении отразилась поездка Пастернака в первых числах июля 1917 г. в деревню Романовку Саратовской губернии.

Из суеверья (с. 72). Пастернак считал 1913—1914 год особенно счастливым в творческом отношении. Вернувшись с Урала в марте 1917 г., он снова поселился в той же маленькой комнате в Лебяжьем переулке, в которой жил в 1913 г. *Коробка с красным померанцем* — спичечный коробок с изображением померанца, горького апельсина, на верхней крышке.

Весенний дождь (с. 76). Посвящено многолюдному ночному митингу, собравшемуся перед Большим театром по случаю приезда в Москву военного министра Временного правительства А. Ф. Керенского 26 мая 1917 г.

Звезды летом (с. 77). В автографах стихотворение предварялось эпиграфом, варьирующим разные строки стихотворения Блока «Незнакомка».

Уроки английского (с. 78). Благословение жизни в момент прощания с нею у героинь Шекспира, составившее содержание стихотворения Пастернака, было ярко обрисовано в его переводах «Гамлета» (1940) и «Отелло» (1946). Интерес к Шекспиру и серьезное изучение его творчества и времени не оставляли Пастернака в течение всей его жизни. *С какими канула трофеями...* — шекспировское выражение из 4 акта, сцены 7-й означает собранные Офелией полевые травы. В переводе Пастернака передано тем же словом:

И, как была с копной цветных трофеев,
Она в поток обрушилась.

Определение поэзии (с. 80). Пастернак так объяснял образ *Слезы вселенной в лопатках:* «Лопатками в дореволюционной Москве назывались стручки зеленого гороха. Горох покупали в лопатках и лущили. Под слезами вселенной в лопатках разумелся образ звезд, как бы державшихся на внутренней стороне ночного неба, как горошины на внутренней стенке лопнувшего стручка». *Фигаро́* — опера В.-А. Моцарта «Женитьба Фигаро».

Заместительница (с. 83). В книге «Сестра моя — жизнь» стихотворение следовало за циклом «Развлечения любимой», который завершался примечанием: «Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице». Таким образом, заместительницей осталась фотографическая карточка. Ассоциативная связь за-

паха мандарина и танцев разрабатывалась еще в первых опытах Пастернака 1911—1912 гг. и снова возникла в романе «Доктор Живаго» в главе «Елка у Свентицких». *Бравада Ракочи* — здесь имеется в виду марш Ф. Листа. *Мюрид* — мусульманский аскет.

Попытка душу разлучить (с. 94). *Ржакса и Мучкап* — станции Камышинской ветки, первые после Романовки на обратном пути в Москву.

«Любимая — жуть! Когда любит поэт...» (с. 98). Стихотворение соотносится с общим замыслом книги «Сестра моя — жизнь», характеризующим «доисторическую» сущность революционного лета. Пастернак писал В. Я. Брюсову 15 августа 1922 г., что хотел отразить в ней тот момент революции, «когда она возвращает человека к природе человека и смотрит на государство глазами естественного права». *А. Ватто* (1684—1721) — французский художник. *Ризница* — сокровищница, место для хранения церковной утвари.

«Давай ронять слова...» (с. 99). Эпиграф взят из стихотворения Пастернака «Балашов» (1917). *Марена* — красная краска, названная по растению, из корней которого она приготовляется. *Экклезиаст* — каноническая книга Ветхого завета. *Ягайло и Ядвига* — брак великого литовского князя и польской королевы в 1386 г. положил начало королевской династии Ягеллонов в Польше.

Послесловие (с. 100). *Кошениль*, или *червец*,— вид насекомых, выделяющих краску. Карбункул — другое название рубина.

Темы и вариации. 1916—1922

Маргарита (с. 105). Стихотворение разрабатывает тему трагической обреченности женской судьбы, заключенной в сети общественных установлений. Здесь это сделано на примере героини «Фауста» Гете.

Шекспир (с. 106). В первоначальной рукописи стихотворение имело эпиграф из А. Пушкина: «Ты царь, живи один» («Поэт»). Образ Шекспира в стихотворении включает некоторые черты Маяковского, передает манеру его поведения, детали внешнего облика, характерные привычки. В словах и упреках сонета своему автору звучит укор Маяковскому, который зимой 1918/19 г. почти ежедневно выступал по разным кафе, удовлетворяясь *«успехом в биллиардной»* (Маяковский был страстным игроком в бильярд). Позднее, в 1942 г., Пастернак рассказывал А. К. Гладкову: «Для меня несомненно, что Маяковский читал и учился у Шекспира. Есть у обоих поэтов и природное, так сказать, врожденное

сходство, например, в типе их остроумия». *Малага* — имеется в виду сушеный виноград.

Тема (с. 107). Цикл «Тема с вариациями» был написан летом 1918 г. и дал название всей книге стихов. Название взято из теории музыки. Заданные в теме мотивы или образы переходят в вариации, разрабатываясь и видоизменяясь в зависимости от тональности и характера исполнения. В издании 1945 г. цикл назывался «Стихи о Пушкине» и получил эпиграф из Ап. Григорьева о «таинственной связи» между египетскими сфинксами и современниками. Темой своего цикла Пастернак выбрал переломный момент пушкинской биографии, его прощание с романтизмом. Сюжетным стержнем первой половины цикла стало стихотворение Пушкина «К морю», второй — поэма «Цыганы». Ореол таинственности, отличавший пушкинские стихи этого периода, мог вызывать ассоциации со сфинксом, но Пастернак строил свой образ на африканском происхождении Пушкина со стороны матери, которое так любил подчеркивать Пушкин в это время. Сфинкс выступает другим обозначением имени Пушкина. *Хамиты* — группа народностей Северной Африки. *Эпоха Псамметиха* — III век до новой эры, начало царствования 26-й династии египетских фараонов.

Из «Вариаций». Оригинальная (с. 108). *Трапезундские штормы* — пришедшие от берегов Турции. *Пильзенский дым* — пена, похожая на пенящееся пильзенское пиво. *Жеваный бетель* — тонизирующее средство из листьев перца и семян пальмы. *Кафры* — одна из африканских народностей.

Разрыв (с. 112). *Пустота Торричелли* — безвоздушное пространство над свободной поверхностью жидкости (ртути) в закрытом сосуде. *Эхо охот в Калидоне* — согласно древнегреческому мифу, в Калидонской охоте на огромного вепря участвовала среди других героев охотница Аталанта, мифологический эквивалент богини Артемиды. Известен эпизод преследования Артемиды Актеем. Здесь Пастернак контаминирует различные сюжеты, но остается в рамках их точной семантики. *Игра на губах Себастьяна* — имеется в виду органная музыка И.-С. Баха. *Берген* — порт на севере Норвегии. *Труп затертого до самых труб норвежца...* — полярные экспедиции Ф. Нансена в 1893—1896 гг. на корабле «Фрам», затертом льдами. *В полутьме аккорды... меча в камин...* — музыкальные импровизации в темноте. *Уже написан Вертер...* — Роман Гете «Страдания молодого Вертера» кончается самоубийством главного героя.

Клеветникам (с. 116). Относится к основным впечатлениям лета 1917 г., когда «всколыхнувшиеся толпы народа» — *«сонмища в отпусках»* — собирались под открытым небом и строили планы «единственно мыслимого и до-

стойного существования». *Регент* — правитель государства или руководитель хора. *Хиромант* — гадающий по руке. *Дункан седых догадок...* — персонаж трагедии Шекспира «Макбет», старый шотландский король, олицетворение исконных нравственных установлений.

«Я их мог позабыть? Про родню...» (с. 117). В стихотворении обыгрывается латинская пословица: «Льва узнают по когтям», причем наказанием, которое терпит поэт, становится *«абсурд прозябанья»*, творческая немота. *Ордалии* — пытки, которые терпит обвиняемый, чтобы доказать свою невиновность.

«Нас мало. Нас может быть трое...» (с. 118). Первоначальное название «Поэты». Первые слова стихотворения соотносятся с определением истинного поэта из «Моцарта и Сальери» Пушкина: «Нас мало избранных, счастливцев праздных... единого прекрасного жрецов». В свою очередь слова Пушкина ориентированы на евангельскую притчу о званых на пир: «Много званых, мало избранных» (Лука 14, 24).

Нескучный (с. 121). Первоначальное название «Нескучный сад души». *Нескучный сад* — место народных гуляний в Москве, теперь Парк имени Горького.

«Закрой глаза. В наиглушайшем органе...» (с. 124). *Орденские капитулы* — коллегии руководящих лиц рыцарского ордена.

Поэзия (с. 126). В качестве определений поэзии здесь перечисляются основные сюжеты и образы творчества Пастернака: *«душное лето столиц»*, заставы, предместья, поезда. Не поэт, как «зрительно-биографическая эмблема», не *«осанка сладкогласца»* создает поэзию, а сама жизнь, не гнушаясь при этом ни общеизвестными истинами («пустой, как цинк ведра, трюизм»), ни уличным просторечием. *Ямская* — район Тверских-Ямских улиц, где родился Пастернак, представлял собой в конце века ямскую слободу, *предместье, пригород. Шевардина ночной редут...* — имеется в виду героическая гибель защитников передового редута русской армии у деревни Шевардино за два дня до Бородинской битвы.

Стихи разных лет. 1916—1931

Борису Пильняку (с. 132). Стихотворение при жизни Пастернака публиковалось под редакционным названием «Другу». Б. А. Пильняк подвергался критическим нападкам с осени 1929 г., именно в это время особенно близкими стали его отношения с Пастернаком, который зиму и весну 1931 года прожил у Пильняка. Пастернак объяс-

нял смысл строчки *Вакансия поэта... опасна, если не пуста...*: «Она опасна, когда не пустует (когда занята)». В этих словах слышны отголоски недавнего самоубийства Маяковского.

Анне Ахматовой (с. 132). В очерке «Люди и положения» Пастернак писал о сильном впечатлении, которое произвели на него первые поэтические сборники Ахматовой. В стихотворении отразились образы поэзии Ахматовой и желание Пастернака развеять ее грусть, вселить уверенность в своих силах, укрепить веру в будущее.

Библейский образ Лотовой жены, которая будучи не в силах расстаться со своим прошлым, обратилась в *соляной столб,* лег в основу стихотворения Ахматовой 1924 г.

Марине Цветаевой (с. 133). После чтения «Поэмы конца» Цветаевой 27 марта 1926 г. Пастернак писал ей: «Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности... В другие времена по этому покрытию будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загадочной гениальностью других столетий». Об отношении к поэзии Цветаевой, об их дружбе и переписке писал Пастернак в очерке «Люди и положения».

Мейерхольдам (с. 134). Обращено к режиссеру В. Э. Мейерхольду и его жене актрисе З. Н. Райх в связи с премьерой спектакля «Горе уму».

Брюсову (с. 138). Пастернак читал это стихотворение на торжественном вечере в Большом театре 17 декабря 1923 г., посвященном 50-летию В. Я. Брюсова. *Скажи мне, тень...* — свою речь в Академии художественных наук 15 декабря 1923 г. Брюсов начал цитатой из стихотворения Фета «На 50-летие музы»: «Всяк благодарною хвалою Немую провожает тень».

Памяти Рейснер (с. 140). Посылая первую редакцию этого стихотворения Цветаевой, Пастернак писал 11 апреля 1926 г.: «Хочу написать «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой, может быть, единственной женщиной революции, вроде тех, о которых писал Мишле» (автор «Истории Французской революции»).

Уральские стихи (с. 141). В первой публикации цикл сопровождался эпиграфом из стихотворения Брюсова «Лед и уголь»: «Лед и уголь, вы могильны». В свое пребывание на Урале в 1916 г. Пастернак посетил Кизеловские угольные копи. 29 мая 1916 г. он писал родителям: «Бог привел меня побывать в шахтах. Это я запомню на всю жизнь. Вот настоящий ад! Немой, черный, бесконечный, медленно вырастающий в настоящую панику!..» Стихи были написаны в конце 1918 г., когда Пастернак узнал о восстаниях на уральских рудниках и зверствах карательных отрядов.

К Октябрьской годовщине (с. 147). Стихотворения печатались с эпиграфом из стихотворения Ф. Тютчева «29 января 1837 г.»:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Посылая стихи редактору журнала «Земля и фабрика» С. Обрадовичу, Пастернак писал ему 29 августа 1927 г.: «Не смотрите на октябрьский материал, как на поэму... Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня...» *Телятники* — здесь: товарные вагоны.

Высокая болезнь (с. 154). В стихотворении картины разрушенного мировой и гражданской войнами жизненного уклада становятся обоснованием мысли о невозможности лирически выразить изменения, прошедшие в обществе за последнее десятилетие. Лирика как способ естественного в былые времена самовыражения человека теперь становится болезнью, «высокой болезнью». Отражением событий современной действительности может стать только эпос. «Лирика сейчас редкостнейшая редкость,— писал Пастернак поэту С. Спасскому,— и она сидит в Вас, сидит и болеет, потому что не болеть сейчас не может» (29 сентября 1930 г.). Конец стихотворения, написанный в 1928 г., посвящен выступлению Ленина на IX съезде Советов в декабре 1921 г. в помещении Большого театра. Портрет Ленина заслужил высокую оценку современников. *Карельский вопрос* — о белофинском мятеже 1921—1922 гг. *В зияющей японской бреши... в треске Фудзиямы...* — речь идет о страшном землетрясении в Японии в сентябре 1923 г. Советское правительство послало соболезнование рабочему классу Японии. *Мста, Ладога, Шексна, Ловать* — реки и озера, входящие в водную систему Новгородской области. *Орел двуглавый, по Псковской области кружа...* — вслед за отречением Николая II было принято постановление о его аресте, и в качестве мер к его задержанию были заняты войсками вокзалы и посланы комиссары на станции Царское Село, Тосна и Званка. *Одно всходило из-за Тосна, другое заходило в Дне* — имеется в виду приезд Ленина из-за границы в апреле 1917 г. и отречение царя в марте 1917 г.

Девятьсот пятый год

Работа над поэмой была приурочена к 20-летнему юбилею революции 1905 г. Пастернак опирался на документы и воспоминания участников. Собственные впечатления легли в основу глав «Детство» и «Москва в декабре». Как

непосредственному свидетелю и участнику событий, Пастернак послал книгу А. М. Горькому, который ответил 18 октября 1927 г.: «Книга — отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь».

Отцы (с. 167). *Саввы и Викулы* — имеются в виду крупные купцы-промышленники С. И. Мамонтов, В. А. и С. Т. Морозовы. *Позорные телеги* — для перевозки арестованных. *Первое марта* 1881 г.— день убийства Александра II народовольцами. *Перовская С. Л.* (1853—1881) — была казнена по делу первомартовцев. *Подпольщик Нечаев С. Г.* (1853—1882) — организатор тайного общества «Народная расправа», члены которого были приговорены к тюремному заключению. Применял методы мистификации и провокации. *Халтурин С. Н.* (1856—1882) — рабочий-революционер, в 1880 г. организовал взрыв в Зимнем дворце.

Детство (с. 171). *Мастерская отца* — Л. О. Пастернак был преподавателем Школы живописи, ваяния и зодчества, в помещении которой жила семья. В 1920 г. Школа была реорганизована во ВХУТЕМАС. *Звон у Флора и Лавра* — церковь у Мясницких ворот (не сохранилась). *Скрябин А. Н.* (1871—1915) — русский композитор, был кумиром юности Пастернака и образцом в его занятиях музыкой. *Нелегальный район Грузии* — центр Декабрьского восстания в Москве. *Попечитель Училища... насмерть* — великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 г. эсером И. П. Каляевым.

Мужики и фабричные (с. 184). *Паровозный везувий под Лодзью* — Лодзинское восстание рабочих 22—24 июня 1905 г.

Морской мятеж (с. 188). *Тендра* (Тендровская коса) — остров в Черном море. *Матюшенко А. Н.* (1879—1907) — один из руководителей восстания на «Потемкине».

Студенты (с. 194). *Бауман И. Э.* (1875—1905) — революционер-большевик, убит черносотенцем. *Ваганьково* — кладбище, где похоронен Бауман. *Завеянный тьмой Ломоносов* — имеется в виду памятник перед зданием Университета, где произошла стычка охотнорядцев со студентами, возвращавшимися с похорон Баумана.

Москва в декабре (с. 198). *Граль* (Грааль) — святыня. Поиски чаши Грааля составляют сюжет средневековых рыцарских романов о короле Артуре. *Аквариум* — сад, где был разогнан рабочий митинг. Училище *Фидлера* — было разбито огнем артиллерии. *Мин* — полковник, командующий Семеновским полком, присланным на подавление восстания. *Риман* — один из офицеров. У *Прохорова* — Прохоровская (Трехгорная) мануфактура была базой боевых дружин.

Лейтенант Шмидт

Поэму о П. П. Шмидте (1867—1906), руководителе вооруженного восстания в Севастополе, Пастернак задумал как вторую часть книги о революции 1905 г. Он так определял художественные установки работы: «Автор, пользуясь материалами того времени для своей поэмы, подходил к ним без романтики и реалистически, видя в задаче обеих поэм картину времени и нравов, хотя бы и в разрезе историко-революционном». Выбирая в герои поэмы легендарную фигуру лейтенанта Шмидта, Пастернак сознательно ставил себя в классические условия эпического поэта. Новой задачей было воссоздание характера исторического героя, «превращение человека в героя, в деле, в которое он не верит, надлом и гибель». Поэма написана по историческим источникам, письмам, протоколам суда, воспоминаниям участников. Особенности фразеологии использованных документов сказались на тексте поэмы и ее стихотворных размерах.

Часть первая (с. 206). *С капитаном Штейном прохаживался адмирал* — разгоном матросского восстания руководил контр-адмирал Писаревский, задумавший провокационный выстрел из толпы по прибывшим для подавления ротам. *Матрос с Варяга* — К. Петров предупредил исполнение провокации двумя выстрелами по сговаривавшимся штабс-капитану Штейну и Писаревскому. *Барков И. С.* (1732—1768) — поэт, разрабатывавший фривольные сюжеты.

Часть вторая (с. 218). Вице-адмирал *Чухнин*, командующий Черноморским флотом, приказал разоружить суда. *Пелион и Осса* — горы в Греции, которые, по мифам, гиганты громоздили одну на другую, чтобы штурмовать небо.

Часть третья (с. 237). *Отдал душу свою за други своя* — слова Христа из Евангелия от Иоанна (15, 13). *А всех их было четверо* — кроме Шмидта по приговору суда были расстреляны матросы А. Гладков, Н. Антоненко, С. Частник.

Спекторский (с. 254). Работа над романом «Спекторский» растянулась на шесть лет. Задачей было, по словам Пастернака, «вернуть истории поколение, видимо, отпавшее от нее».

В приводимом отрывке из главы 8-й дан аллегорический образ революции, в которой для Пастернака на первом плане стояла судьба женщины. «Действительность, как побочная дочь, выбежала из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную»,— писал он об этом в послесловии к

«Охранной грамоте». *Подбор иностранной Лениньяны* — Пастернак принимал участие в составлении библиографии зарубежных материалов о Ленине. *Мельник пушкинский* — герой драмы Пушкина «Русалка».

Второе рождение. 1930—1931

Волны (с. 264). С июля по октябрь 1931 г. Пастернак провел в Грузии, был в Тбилиси, Коджорах и Кобулетах. В поэме «Волны» нашли отражение путешествие по Военно-Грузинской дороге, виденные в пути *Дарьял, Ларс, Млеты* и ледник на Казбеке Девдорах. Сентябрь и половину октября Пастернак провел на аджарском берегу Черного моря в *Кобулетах*. «Это была особая пора в его жизни,— вспоминал о Пастернаке С. Чиковани.— Пора новой любви, нового творческого взлета. И огонь поэзии бушевал в его сердце с особым жаром... Позднее он мне не раз говорил, что Грузия оказала на него такое же сильное воздействие, как Революция, что она стала для него новым открытием мира, началом новой жизни».

Баллада (с. 275). Печаталась с посвящением З. Н. Нейгауз, ставшей второй женой Пастернака. *На даче спят два сына* — сыновья З. Н. Пастернак Андриан и Станислав Нейгаузы.

Лето (с. 276). Печаталось с посвящением И. С. Асмус — жене профессора философии В. Ф. Асмуса. Летом 1930 г. семья Асмусов вместе с Пастернаками и Нейгаузами жила на даче под Киевом в *Ирпене*. Беседы собиравшихся по вечерам друзей ассоциируются в стихотворении с философским диалогом *Платона* о любви и бессмертии «*Пир*» и «*Пиром во время чумы*» Пушкина. *Вековой прототип* — «Пир во время чумы» написан в 1830 г. *Диотима* — в «Пире» Платона собеседница Сократа, жрица из Мантинеи, спасшая Афины от чумы. *Мери* — героиня «Пира во время чумы». Последние строки — парафраз слов Председателя в «Пире во время чумы»: «Бессмертья, может быть, залог».

Смерть поэта (с. 278). Отклик на самоубийство Маяковского, повторяет название знаменитого стихотворения Лермонтова на смерть Пушкина. Обстоятельства знакомства Пастернака с Маяковским весною 1914 г., восхищение его ранними стихами и потрясение от его гибели описаны в «Охранной грамоте» и «Людях и положениях». «*...Красивый, двадцатидвухлетний*» — цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (Тетраптих) 1915 г.

«Не волнуйся, не плачь, не труди...» (с. 280). Написано на прощанье перед отъездом жены с сыном в Германию в начале мая 1931 г.

«Любить иных тяжелый крест...» (с. 281). Это и следующие шесть стихотворений обращены к З. Н. Нейгауз.

«Опять Шопен не ищет выгод...» (с. 285). Как и предыдущее, это стихотворение написано в Киеве, куда Пастернак поехал на несколько дней в июле 1931 г. «Вы любите музыку? Для меня больше всего, бездонно много по сравнению с другими сделал в ней Шопен. И я его произвожу не из вздохов и слез, пролитых им в жизни... но из особенностей парижской городской жизни тридцатых годов прошлого века, из деревьев парижских бульваров»,— писал Пастернак 28 марта 1959 г. Ч. Гудиашвили. *Рейтарская* — улица в Киеве. *Фермата* — нотный знак произвольной длительности. *Мальпост* — почтовая карета.

«Пока мы по Кавказу лазаем...» (с. 288). Обращено к первой жене, Е. В. Пастернак, проводившей лето 1931 г. в Германии.

«О, знал бы я, что так бывает...» (с. 289). О трудностях призвания и выбранного пути писал Пастернак в письме родителям: «Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя. Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасается с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь» (11 февраля 1932 г.).

«Столетье с лишним — не вчера...» (с. 292). В стихотворении используется размер и начальная строфа пушкинских «Стансов» («В надежде славы и добра...»), со времени написания которых в 1826 г. отмечается столетье с лишним.

На ранних поездах. 1936—1944

«Мне по душе строптивый норов...» (с. 296). Это стихотворение и два следующих, входящих в цикл «Художник», написаны в период наибольшей известности и общественной активности Пастернака. *Он жаждал воли и покоя* — имеется в виду пушкинское позднее определение: «На свете счастья нет, но есть покой и воля» из стихотворения «Пора, мой друг, пора...».

Из летних записок (с. 300). Биографической канвой цикла была поездка в Грузию в 1931 г. «Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло»,— писал Пастернак в очерке «Люди и положения». Общаясь со своими грузинскими друзьями, Пастернак отчет-

ливо понял, что такое народный поэт, в чем коренится та духовно-нравственная категория, которую называют связью художника с народом. В письме в «Литературную газету» (1937, № 1) Пастернак разъяснял смысл стихотворения «Счастлив, кто целиком...»: «Во 2-й строфе говорится о языке, в 3-й, вызвавшей нарекания, о том, что индивидуальность без народа призрачна, что в любом ее проявлении авторство и заслуга движущей первопричины восходит к нему — народу. Народ — мастер (плотник или токарь), а ты,— художник,— материал. Такова моя истинная мысль, и как бы ни сложилась дальнейшая ее судьба, я в ней не вижу ничего с идеей народа не совместимого». *Класть под долото* — профессиональное выражение, означающее отделку столярного изделия.

Летний день (с. 301). Стихотворение открывало цикл стихов, посвященных жизни в подмосковном поселке Переделкино. «После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое,— писал Пастернак 15 ноября 1940 г. О. М. Фрейденберг.— ...Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза».

Ложная тревога (с. 304). Окна дома, где жил Пастернак, обращены на поле и кладбище за рекой, на котором он похоронен.

Иней (с. 307). *Четверостишье о спящей царевне в гробу* — имеются в виду строки Пушкина из «Сказки о мертвой царевне».

На ранних поездах (с. 309). Зиму 1940/41 г. Пастернак прожил в Переделкине, регулярно каждую неделю или дважды в неделю он ездил в Москву на репетиции «Гамлета» в его переводе. «Какая непередаваемая красота жизни зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление...— писал он О. М. Фрейденберг 15 ноября 1940 г.— А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется... как рано еще сдаваться, как хочется жить».

Зима приближается (с. 315). Две военные зимы Пастернак провел в эвакуации в Чистополе на Каме. В стихотворении отразились впечатления того времени. «Мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их увидел зимой 1941 г., когда приехал к эвакуированной семье»,— вспоминал Пастернак.

Памяти Марины Цветаевой (с. 316). Сти-

хотворение восстанавливает обстановку жизни Пастернака в Чистополе, где задумывались эти стихи. За два месяца до его приезда в соседнем с Чистополем городе Елабуге покончила с собой Марина Цветаева. Пастернак очень высоко ставил дарование Цветаевой. Восхищение ее книгой «Версты» 1921 г. послужило началом их переписки, длившейся до 1930 г. и достигшей кульминации в 1926 г. (Дружба народов. 1987. № 6—9).

Смерть сапера (с. 325). Стихотворение писалось по свежим впечатлениям поездки Пастернака на фронт в сентябре 1943 г. Детали описываемых событий взяты из «Дневника боевых действий», сохранившегося в архиве Пастернака. *Зуша* — приток Оки. *Сарапул* — город на Каме.

Ожившая фреска (с. 328). Стихотворение посвящено герою Сталинграда командиру дивизии Л. Н. Гуртьеву. Его дивизия была переброшена под Орел и 12 июля 1943 г. прорвала немецкую оборону, 3 августа в одном из боев за освобождение Орла Гуртьев был убит. *Архистратиг* — здесь: предводитель небесного воинства архангел Михаил. *Лик Георгия* — святой Георгий Победоносец изображается с копьем, поражающим змея.

Стихотворения Юрия Живаго. 1946—1953

Гамлет (с. 334). Стихотворение открывает цикл, составивший заключительную главу романа «Доктор Живаго». «Этот герой,— писал Пастернак о главном герое романа М. П. Громову 6 апреля 1948 г.,— должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их пишу всегда в тетрадь этому человеку».

Перевод «Гамлета» Шекспира был первым в ряду восьми трагедий. В 1946 г., готовя их к изданию, Пастернак обобщил свои наблюдения над поэзией и стилем Шекспира в «Заметках к переводам шекспировских драм». Там он писал: «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения». *Авва Отче, чашу эту мимо пронеси* — слова молитвы Христа в Гефсиманском саду непосредственно перед тем, как он был взят фарисеями (Матфей 26, 39).

Свадьба (с. 340). Посылая Н. А. Табидзе автограф стихотворения, Пастернак писал 9 декабря 1953 г.: «...Внушено простым фактом жизни, где-то на дворе (в другом флигеле, у простых людей) свадьба была, поздно ночью не дали спать и рано утром разбудили, но у меня не было раздражения на них, наоборот, будто я прожил с ними эту ночь».

О с е н ь (с. 343). *Стежки и дорожки позаросли...*— парафраз первой строки народной песни «Позарастали стежки-дорожки», широко распространенной на Урале.

А в г у с т (с. 344). Престольный праздник церкви в Переделкине приходится на Преображение, отмечаемое 19 августа (*по старому* стилю — *6 августа*). Это второй из трех праздников, посвященных Христу и справляемых летом, по-народному — *Второй Спас*. По преданию, идущему от первых веков христианства, местом Преображения называется гора *Фавор*.

З и м н я я н о ч ь (с. 347). Горящая свеча, свет которой виден с улицы, встречалась еще в первых прозаических опытах Пастернака в 1911—1912 гг. Свеча на окне, как знак любовного свидания, имеется в стихотворении И. Анненского «Canzone». Важное композиционное значение имеет свеча на окне в образной символике романа «Доктор Живаго».

Р о ж д е с т в е н с к а я з в е з д а (с. 351). Написано на евангельский сюжет. *Вертеп* — пещера.

Когда разгуляется. 1956—1959

«В о в с е м м н е х о ч е т с я д о й т и...» (с. 360). Стихотворение открывает собой последнюю книгу стихов, толчком к написанию которой было планировавшееся и не состоявшееся в 1957 г. издание «Стихотворений и поэм», для заключительной части которого требовались новые стихи.

«Б ы т ь з н а м е н и т ы м н е к р а с и в о...» (с. 361). Первоначально стихотворение называлось «Верую». Оно представляет собой утверждение главных устоев, которыми Пастернак руководствовался в жизни и творчестве. Поэт действительно был суров к своему архиву, уничтожал черновики. В очерке «Люди и положения» он писал об отношении к судьбе своих работ: «Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение».

П е р е м е н а (с. 364). Возвращаясь памятью к нравственным началам демократизма, которые сложили его поколение, Пастернак резко осуждал, и прежде всего в себе самом, измену гуманистическим идеалам молодости. «Людей художественной складки всегда будет тянуть к бедным, к людям трудовой и скромной участи, там все теплее и выношеннее, и больше, чем где бы то ни было, души и краски»,— писал он 6 января 1938 г. родителям.

Н о ч ь (с. 372). Стихотворение отразило чтение книги

А. Сент-Экзюпери «Ночной полет» и «Земля людей». *У времени в плену* — см. примечание к стихотворению «О знал бы я, что так бывает».

Ветер (Четыре отрывка о Блоке) (с. 375). Пастернак неоднократно писал о притягательности и обаянии поэзии Блока, знакомство с которой в молодые годы было для него одним из решающих моментов в выборе призвания. В очерке «Люди и положения» Пастернак назвал, «блоковскую стремительность, беглость его наблюдений» чертой, оказавшей на него самого наибольшее влияние. Отрывки о Блоке композиционно и стилистически ориентированы на образы блоковской поэзии, его ритмы, фразеологические сочетания. *Спускался с Синая...* — по Библии, Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, с божьими заповедями. Дед-якобинец — А. Н. Бекетов (1825—1902) профессор Петербургского университета и общественный деятель. *Поэзия третьего тома* — Блок издавал свои стихотворения в трех томах, третий составляла зрелая лирика 1907—1916 гг.

В больнице (с. 380). Связано с пребыванием Пастернака в больнице в октябре 1952 г., когда поэт перенес тяжелый инфаркт миокарда.

Музыка (с. 381). *С заповедями скрижаль* — см. примечание к стихотворению «Ветер». *Полет валькирий* — сцена из оперы Р. Вагнера «Гибель богов». *Паоло и Франческа* — музыкальная фантазия П. Чайковского.

Вакханалия (с. 385). О замысле этого стихотворения Пастернак писал Н. А. Табидзе 21 августа 1957 г.: «Как раз накануне заболевания последними моими впечатлениями были: подготовка «Марии Стюарт» в театре, две именинных ночи в городе и вообще вид вечернего города, куда я приезжал из заснеженных полей. Мне хотелось, как всегда, сказать это все сразу в одном стихотворении. Мне мерещилась форма того, что древние называли вакханалией, выражением разгула на границе священнодействия, смесью легкости и мистерии». *У Бориса и Глеба* — церковь у Арбатских ворот. *Ронсар П.* (1524—1585) — французский поэт.

Все сбылось (с. 402). Пастернак стремился найти и выделить в настоящем жизнеспособные моменты близкого будущего. Это желание сказалось в самом названии книги «Когда разгуляется».

После грозы (с. 405). О завершенности огромного полувекового периода и необходимости нарушить непрерывность и осмыслить освободившееся пространство будущего писал Пастернак Н. А. Табидзе: «Освободилось безмерно большое, покамест пустое и незанятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того,

что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней» (11 июня 1958 г.).

Стихотворения, не включенные в основное собрание

«Вслед за мной все зовут вас барышней... (с. 410). Обращено к Н. М. Пичета. Как и следующее, входило в книгу «Поверх барьеров» (1917). В «Охранной грамоте», вспоминая об увиденных в 11 лет дагомейских амазонках, которые разыгрывали свои военные парады в Зоологическом саду, Пастернак писал, как связалось у него «первое ощущение женщины» с видом этих невольниц. И потом всякий раз он определял отношения влюбленности образом плена и *«акта наложения наручней»*: «Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу».

«Как казначей последней из планет... (с. 410). Отношения искусства и воспринимающей его среды Пастернак представлял себе так: «Послать волну такого наслаждения и благодаря его особенности испытать его со своей стороны в другом; отдать, чтобы получить его в ближайшем» (письмо А. Л. Штиху 6 августа 1913 г.). Потребность искусства в обратной отдаче вызвала образ искусства — «казенной палаты», поэта — «казначея», воспринимающих искусство — как «податного сословия».

«Записки завсегдатая...» (с. 413). Стихотворение было записано на экземпляре «Сестры моей жизни» (1922) вместе с дарственной надписью Н. Н. Асееву.

1 мая (с. 414). Стихотворение написано по заказу Маяковского в журнал «Леф», где в № 2 1923 г. были помещены семь стихотворений сотрудников журнала на тему Первого мая.

Из записок Спекторского (с. 416). «Когда я в 25 году писал «Спекторского»,— вспоминал Пастернак 24 мая 1932 г. в письме к сестре,— я задумал вторую часть повести в виде записок героя. Он должен был вести их летом в городе, в мыслях я поселил его в нижнем этаже одного двухэтажного особнячка на Тверском бульваре». Записки служили своего рода лирическим подспорьем для создания образа героя, показывая его как человека творческого. Они были отданы в «Леф», при жизни Пастернака не издавались.

На смерть Полонского (с. 417). *Полонский В. П.*— главный редактор «Нового мира» с 1926 по 1931 г. Дружеские отношения Пастернака с Полонским на-

чались с 1922 г., особенно внимателен Пастернак был к Полонскому в последние годы в связи с ростом критики в адрес Полонского, покровительствовавшего литературе «попутчиков». Полонский умер 24 февраля 1932 г. В стихотворении горечь утраты сочетается с чувством вины перед лицом несчастья.

«Все наклоненья и залоги...» (с. 418). Написано в связи с выходом в октябре 1935 г. в Праге сборника стихов Пастернака «Лирика» в переводе Йозефа Горы (1891—1945), крупнейшего чешского поэта.

Русскому гению (с. 421). В «Литературной газете» 8 октября 1941 г. стихотворение появилось под названием «Правда» и с измененным началом.

«Грядущее на все изменит взгляд...» (с. 422). Записано в альбом В. Д. Авдеева, знакомого Пастернака по пребыванию в Чистополе. В конце стихотворения приписка: «Не окончено. Предполагалось продолжение о зиме и доме Авдеевых. Б. Пастернак». *И в тот же вечер разыщу семью...*— в доме Авдеевых собирались эвакуированные писатели.

1917 — 1942 (с. 423). Отдавая автограф А. Е. Крученых, Пастернак приписал: «Я тебе обещал записать стихотворение, которое я написал к 7 ноября для «Комсомольской правды». Большое счастье, что они его не напечатали. Это очень бледный вздор, в данном случае особенно глупый своим неуместным интимизмом. 24.12.1942 г.». При жизни Пастернака стихотворение не публиковалось. *Мне не жалко незрелых работ...*— имеется в виду гибель архива Пастернака зимой 1941/42 г.

Бессонница (с. 423). Вместе со следующим стихотворением входило в тетрадь стихотворений Юрия Живаго, в цикл «Колыбельных песен». Впоследствии были исключены автором и при его жизни не публиковались.

«Деревья, только ради вас...» (с. 424). Автограф сохранился среди черновиков книги «Когда разгуляется», побочный вариант стихотворения «Тишина».

Чувство жизни (с. 425). Автограф имеет два варианта среди черновиков книги «Когда разгуляется».

Переводы

С первых лет своей литературной деятельности Пастернак регулярно и профессионально занимался переводом, видя в этой работе школу и способ приобретения необходимых навыков. Желание передать по-русски силу и красоту немецкого или английского поэта толкало его перелагать полюбившиеся стихи Р. М. Рильке или Ч. О. Суин-

берна и тем самым активизировало его собственные творческие возможности.

«Переводы либо не имеют никакого смысла, либо их связь с оригиналом должна быть более тесною, чем принято. Соответствие текста — связь слишком слабая, чтобы обеспечить переводу целесообразность,— писал Пастернак в 1944 г.— Такие переводы не оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают понятия о главной стороне предмета, который они берутся отражать,— о его силе... Перевод должен исходить от автора, испытавшего воздействие подлинника задолго до своего труда».

Предлагаемые в настоящем издании стихотворения Шекспира, Байрона, Верлена и Рильке представляют собой примеры пожизненного восхищения и любви Пастернака. Достижения их поэзии оказали сильное художественное влияние на его оригинальное творчество. Обращения к переводам европейских лириков относились у Пастернака ко второй половине 30-х гг., в них сказались, как он писал, тоска по Европе, беспокойство за судьбу культуры перед началом мировой войны.

«Совершенным откровением» явились для Пастернака в 1931 г. Кавказ, Грузия, «отдельные ее люди, ее народная жизнь. Все было ново, все удивляло». Он писал через год: «Этот город (Тифлис) со всеми, кого я в нем видел... будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке,— одной из глав Охранной грамоты, длящейся для меня всю жизнь».

Удивительной любовью и близостью были проникнуты отношения Пастернака и Тициана Табидзе, что отразилось на переводах его стихов, в которых, по словам Пастернака, «столько же души, сколько было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию».

Переводы из грузинского романтика Николоза Бараташвили делались в 1945 г. к столетнему юбилею со дня его рождения и передают свойственные этому поэту «взрывы изобразительной стихии», особенно проявившиеся в его «бесподобном, бешеном и вдохновенном Мерани». «Это символ веры большой борющейся личности,— писал Пастернак,— убежденной в своем бессмертии и в том, что движение человеческой истории отмечено целью и смыслом».

К иллюстрациям

Содержание

Темы и вариации. 1916—1922

Стихи разных лет. 1916—1931

Высокая болезнь

Девятьсот пятый год

Стихотворения Юрия Живаго. 1946—1953

Когда разгуляется. 1956—1959

Стихотворения, не включенные в основное собрание

Переводы

Из английской поэзии

Из французской поэзии

Из немецкой поэзии

Из грузинской поэзии

Пастернак Б. Л.

П19 . Стихотворения и поэмы/Сост., предисл. Л. П. Быкова; Коммент. Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернака.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.— 480 с.: ил.

ISBN 5—7529—0048—4

В пер.: 5 р. 20 000 экз.

В книгу избранных произведений выдающегося советского поэта вошли стихотворения и поэмы, отражающие основные этапы его творческого пути.

П $\frac{4702010200\text{-}094}{М158(03)\text{-}88}$ 47-88 **ББК 84Р7**

Текст печатается по изданию: Борис Пастернак. Избранное: В 2-х т.— М.: Художественная литература, 1985.

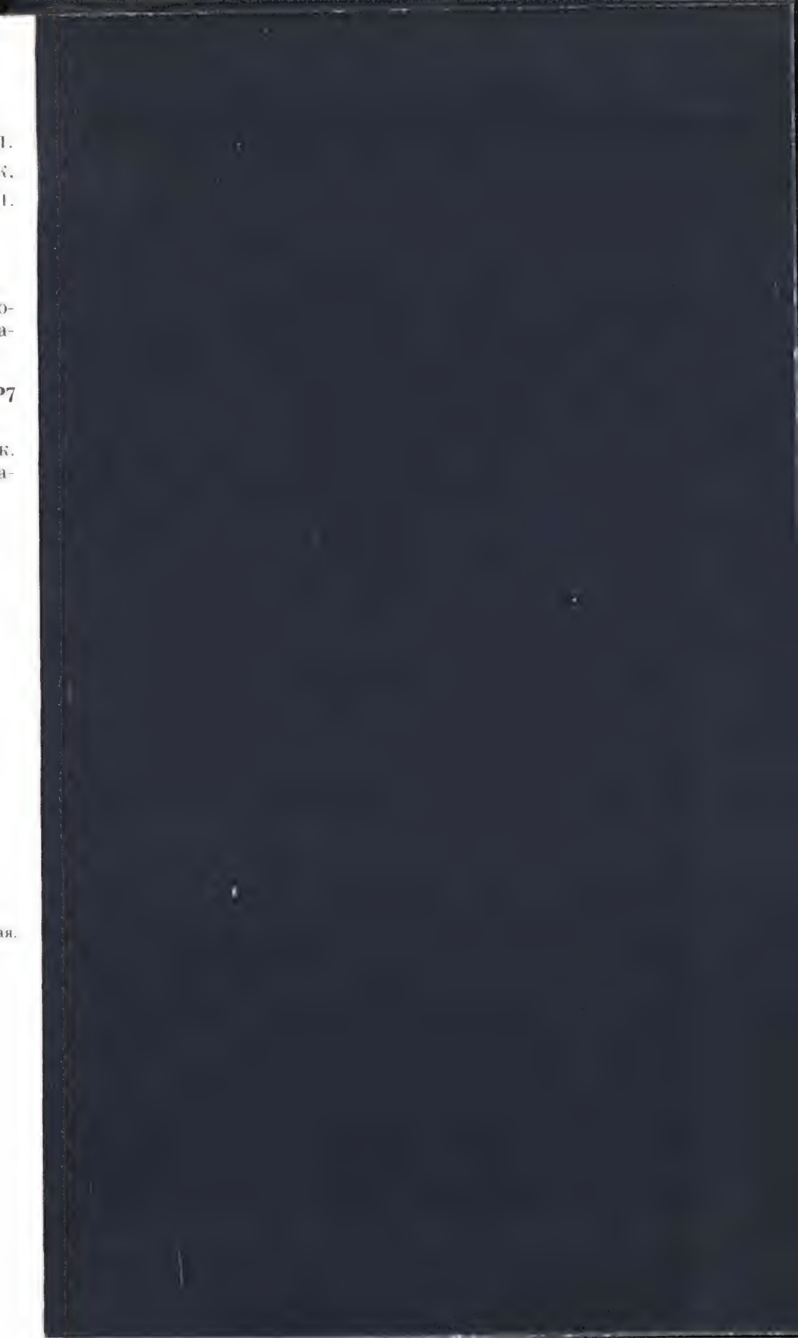
Борис
Леонидович
Пастернак

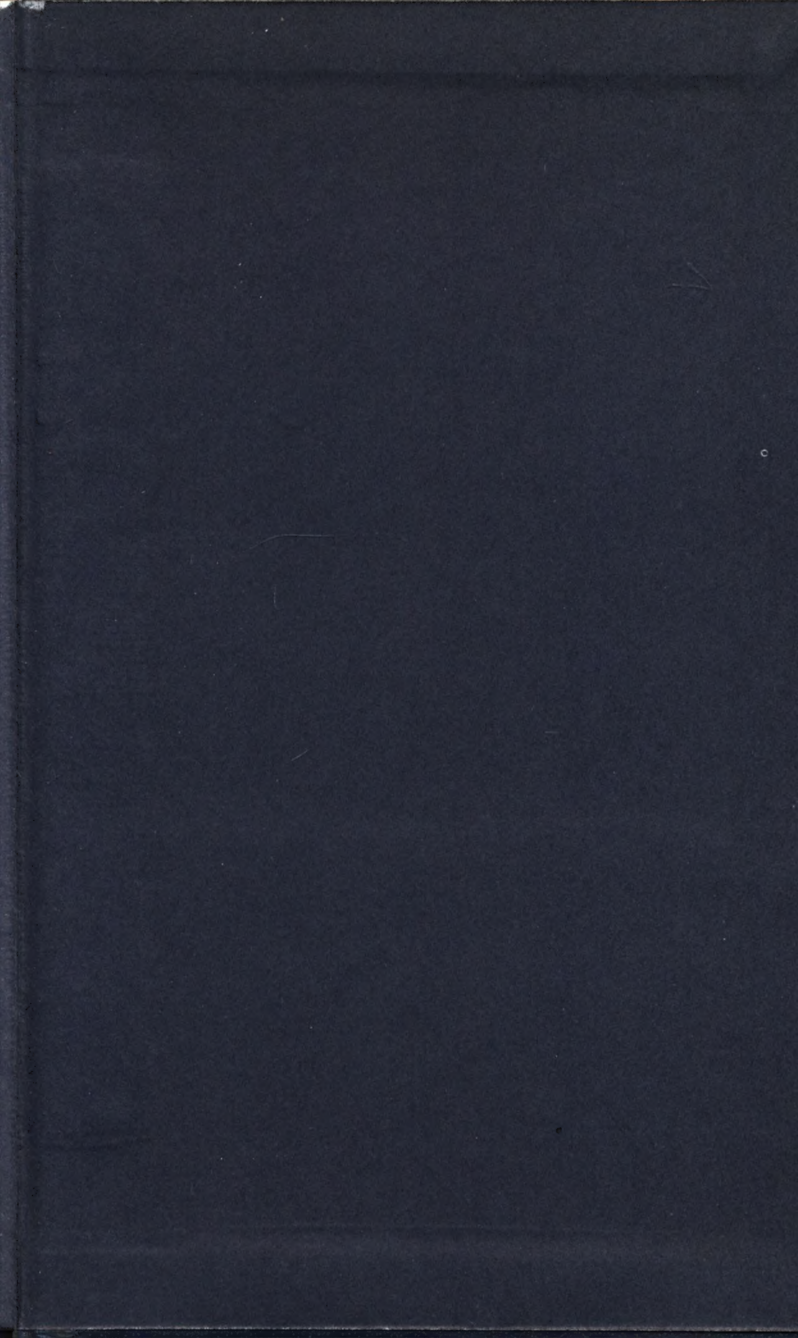
**Стихотворения
и поэмы**

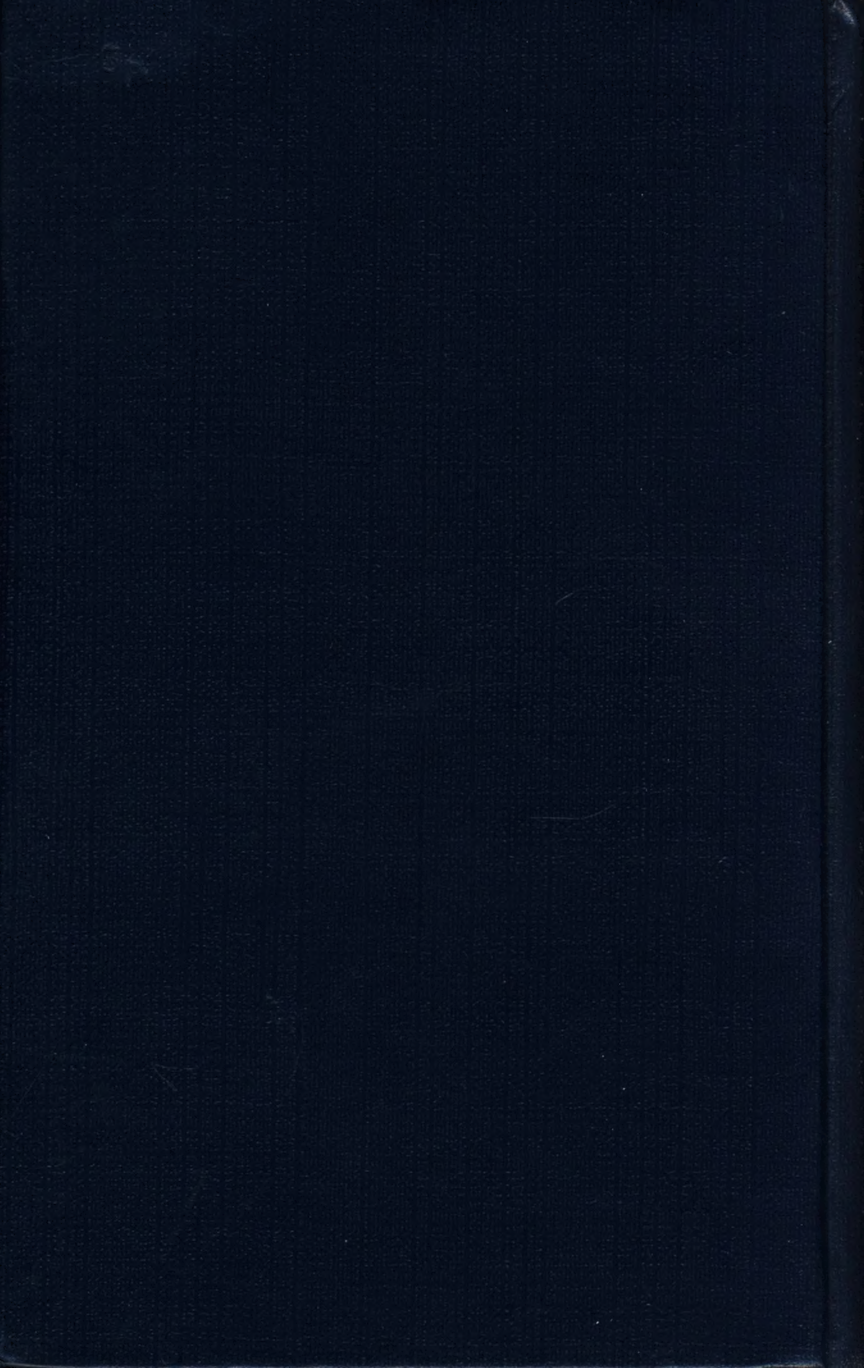
Редактор
М. Федотовских
Художник
А. Рюмин
Художественный редактор
Н. Данилов
Технические редакторы
Л. Голобокова
Т. Черепанова
Корректоры
Т. Дрябина
М. Худякова
М. Казанцева

ИБ № 1656
Сдано в набор 09.02.88.
Подписано в печать 01.11.88.
Формат 75×90 1/32.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура обыкновенная новая.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,7.
Усл. кр. отт. 37,6.
Уч.-изд. л. 18,5.
Тираж 20 000. Заказ 107.
Цена 5 р., в футляре — 6 р.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск,
ГСП-351, Малышева, 24.
Типография издательства «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск
пр. Ленина, 49.







Борис
Пастернак

